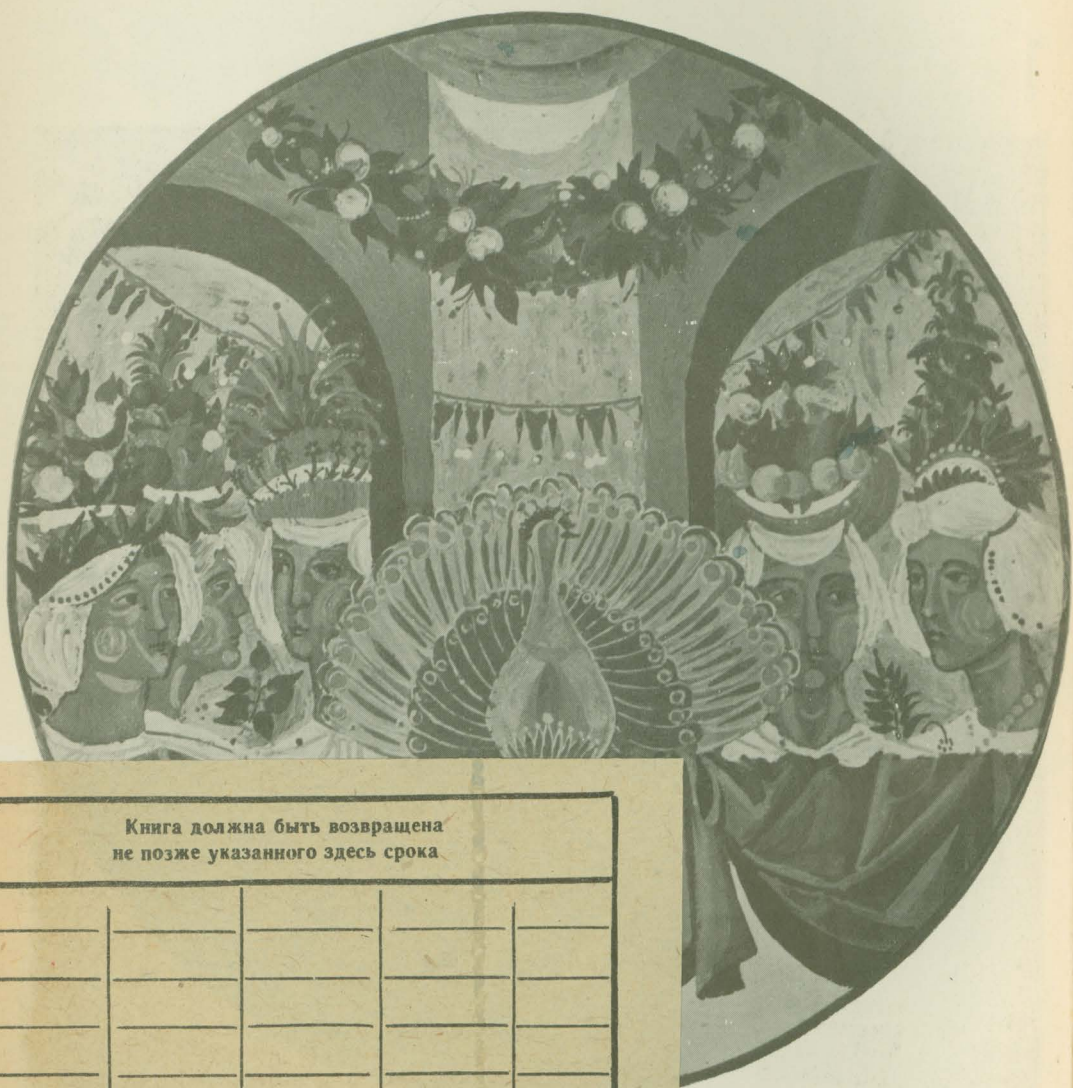


84p7 (2p-4Kcm)

ISSN 1235—7976

Л 64
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
1•1991 **КУЗБАСС**





Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока

КемПК

Энкаустика.

84Р7(2Р-4Кем)
1 64

ЛИТЕРАТУРНЫЙ № 1 (III) КУЗБАСС

Год издания— 43-й

ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит
ежеквартально

За редактора:
Валерий ЗУБАРЕВ

Редакционная
коллегия:

Виктор БАЯНОВ

Сергей ДОНБАЙ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Александр КАЗАРКИН

Валентин МАХАЛОВ
(отв. секретарь)

Любовь НИКОНОВА



390878

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Борис Антонов. Каин с револьвером	3
Илья Картель. Автограф. Документальный рас- сказ	17
Юлия Лавряшина. Размышления у черной стены. По- весть	24
Гарий Немченко. Короли цепей. Рассказ	48
Галина Милованова. Римка-матушка. Рассказ	56

ПОЭЗИЯ

Борис Бурмистров. «Все больше зимние пейзажи...» . . .	21
Леонид Гержидович. «Впитали листья стронций...» Воз- вращение	54
Владимир Иванов. «Еще скользят по снегу лыжи...»	
«Еще утрами сыплет иней спор...»	63
Александр Катков. «А в этом доме пахнет отчим до- мом...»	23
Николай Николаевский. Облако	22
Александр Фомин. Юродивый. В шахте	46
Светлана Трущева. Озеленение города. «Вошла в числе паломников во храм...» Сад на асфальте. «Вот стул...»	46
Евгений Харламов. Дождь	55

Кемеровское
книжное
издательство
1991

Адрес редакции:
650099, Кемерово, 99
проспект Советский, 40
тел. 26-85-14

Редакция рукописи
не рецензирует,
а только
сообщает о своем решении.

Рукописи объемом менее
двух авторских листов
не возвращаются.

На первой стр. об-
ложки: **Е. М. Тищенко**
«Славянские девушки».
1988 г. Энкаустика.

На четвертой стр.
обложки: **Е. М. Тищенко**.
Интерьер «Золотого зала»
детского сада. 1988—89 гг.
Левкас, темпера.

Ведущий редактор
Т. И. Махалова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор **Е. А. Царева**

ПАМЯТЬ СИБИРИ

Василий Дятлов. Сибирский старый тракт...	59
Геннадий Емельянов. Надежда умирает последней . . .	64
Михаил Небогатов. «Незаметно дни идут за днями...»	
Заметки из дневников	82

СЛОВО — КРИТИКЕ

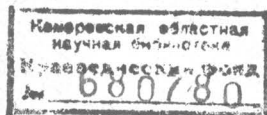
Алексей Горшенин. «Притомские» смотрины	74
--	----

ПОЛЮСА СМЕХА

Дмитрий Рябов. Сценарий короткометражного фильма о гражданской войне. Стихи	80
---	----

СТИХИ — ДЕТЯМ

Евгения Леволь. Шутка. Куропатки. Тень. Музыкальный пес Трезор	88
--	----



Сдано в набор 06.11.90. Подписано к печати 12.02.91. Формат 70X90^{1/16}.
Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,44. Усл.
кр.-отт. 7,17. Уч.-изд. л. 7,41. Тираж 2000 экз. Заказ № 4340. Цена
1 р. Кемеровское книжное издательство. Кемеровский полиграфком-
бинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Но-
градская, 5.

КАИН С РЕВОЛЬВЕРОМ

Сейчас о Библии без боязни говорят, а ведь было времечко, совсем недавнее, когда о ней помалкивали.

О «Кавалере Золотой Звезды» говори. О «Счастье», о «Журбиных» — пожалуйста. О Библии — ни-ни, словно и нет в свете такой книги.

Знакомство с ней считалось чем-то зазорным, и не дай бог, если кто-то узнает, что заглядывал в нее: выговоряка по комсомольской линии вполне обеспечена.

Но как бы ни был велик страх, а любопытство — одно из древнейших человеческих пороков — пересиливало, и я, придя в гости к отнюдь не богомольной и осенявшей себя крестом больше по привычке, чем по вере, родной тетушке, с трепетом раскрывал толстую книгу и тут же погружался в загадочный мир.

«...Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.

И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец.

Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу.

И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на его дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его... И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его...»

Я долго недоумевал, за что же Каин убил Авеля?

За то, что бог у одного принял жертву, а у другого нет? Только не Авель ведь виноват в том, что бог не захотел принять вегетарианскую жертву Каина, и напрасно он, Каин, разгневался на брата.

Так или не так, но из притчи я сделал вывод, что убивать нехорошо, плохо, тем более по капризу.

А об убийствах говорили и писали много. И больше не о тех, что совершались в городе, а, страшно подумать, о тех покушениях, которые готовились на нашего вождя и учителя товарища Сталина.

«Троцкистскому террористу, которому было поручено убить Сталина на одной важной партийной конференции в Москве, удалось проникнуть в зал заседания, но он не смог подойти на достаточно близкое расстояние к советскому вождю, чтобы воспользоваться своим револьвером.

В другой раз террористы стреляли в Сталина, когда он проезжал в моторной лодке у побережья Черного моря, но промахнулись...»

Каждый террорист представлялся мне в образе разгневанного Каина с револьвером в руках.

И вот спустя много лет я снова держу в руках эту книгу — «Тайная война против Советской России», — где красочно описываются покушения на наших вождей.

Вышла она в Америке сразу же по-

сле войны, написали ее Майкл Сейерс и Альберт Кан, написали в духе своих американских вестернов.

«...Заговорщикам удалось после длительных наблюдений проследить маршрут, которым пользовался обычно в Москве народный комиссар обороны Ворошилов. Три террориста, вооруженные револьверами, в течение многих дней дежурили на улице Фрунзе, где обычно следовал автомобиль Ворошилова. Но машина шла на такой большой скорости, что террористы, как один из них признался впоследствии, «сочли бесполезным стрелять в нее».

Чем не эпизод из захватывающего фильма!

Одна правда: американские гангстеры не посчитались бы со скоростью и не упустили бы своего.

А вот еще, из той же книги.

«...В сентябре 1934 года председатель Совета Народных Комиссаров В. М. Молотов, совершавший инспекционную поездку по горно-рудным и промышленным районам страны, прибыл в Сибирь.

Когда Молотов возвращался после поездки на одну из шахт Кузнецкого угольного бассейна, машина, в которой он ехал, внезапно свернула с дороги, покатилась с крутой насыпи и остановилась на самом краю крутого обрыва. Молотов и его спутники, отделавшись ушибами и синяками, выбрались из-под опрокинутой машины. Они чудом избежали смерти.

Машиной управлял Валентин Арнольд, начальник местного гаража. Арнольд был членом троцкистской террористической организации. Шестов дал ему задание убить Молотова, и Арнольд преднамеренно на полном ходу свернул с дороги. Попытка не удалась лишь потому, что в последнюю минуту Арнольд потерял самообладание и замедлил ход при приближении к насыпи, где по плану должен был произойти «несчастный случай»...

Уф!

Не правда ли, леденящее душу описание злодейства, которое должно было совершиться на сибирской земле.

Чего тут больше: правды или выдумки?

И что за мода такая была в середине тридцатых на разные террористические акты?

В жертву намечались Сталин и Ворошилов, Орджоникидзе и Молотов, Ежов и Берия, Каганович и Эйхе, вожди республиканских и областных масштабов, но почему-то тщательно подготовленные акции с треском проваливались, а судебные процессы гремели все громче и громче?

Дорожное происшествие — не выдумка, исторический факт. Наверняка найдутся люди, которые подтвердят его и, возможно, распишут новыми деталями, хотя и прошло полвека с гаком.

Но нашлась же жена водителя — Александра Васильевна. Нашлась и племянница его — Лидия Ивановна. Обе они хорошо помнят тот злополучный день, разделивший их жизнь на две половины. Они помогли мне воссоздать картину происшедшего.

О покушении много говорили на процессе так называемого «параллельного антисоветского троцкистского центра» в январе 1937 года, где главными обвиняемыми были Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков.

Государственный обвинитель, небезызвестный Андрей Януарьевич Вышинский, сверкая стеклышками очков, всю неделю твердил о том, что организация террористических актов является составной частью «преступной» деятельности троцкистов.

Чтобы не было сомнений в реальности таких терактов, на свет вытащили происшествие двухгодичной давности.

Налицо — руководители и подлые организаторы, налицо — рядовой исполнитель, «боевик» Валентин Арнольд.

Судьба свела его и посадила на одну скамейку с теми, кто делал революцию, защищал ее, а потом, по утверждению прокурора, предал.

О Ю. Л. Пятакове, К. Б. Радеке, Г. Я. Сокольникове, Л. П. Серебрякове, надеюсь, вы немало слышаны и хорошо знаете, что все они работали еще с Лениным, не боялись спорить с ним по таким принципиальным вопросам, как Брестский мир, нэп, рабочий контроль, и Владимир Ильич чутко прислушивался к их мнению, памятуя, что ум хорошо, а больше ума — лучше.

По-другому сложились отношения этих лидеров партии со Сталиным.

Об этом можно много говорить, но сегодня меня больше интересует судьба простого, далекого от высокой политики человека, если хотите, — нашего Башмачкина, волей судьбы втянутого в горнило классовой борьбы в мирное время.

День 17 сентября 1934 года, когда заштатный городишко второй всесоюзной кочегарки — Прокопьевск — посетил «стойкий большевик, соратник Сталина» Вячеслав Михайлович Молотов, стал для него и всей его семьи роковым.

Осознание этого пришло не сразу.

Итак, 17 сентября 1934 года.

Из Новосибирска на станцию Усаты, железнодорожные ворота Прокопьевска, прибывает литерный поезд.

Когда он остановился, в проеме одного из вагонов показалась знакомая фигура руководителя страны. За ним на перрон ступил председатель Западно-Сибирского крайисполкома Грядинский.

Увидев у вокзала десятки ударников, оторванных от дел, Молотов

чуть поморщился, но вслух своего недовольства не высказал. Время наступало такое: нельзя вождам всех калибров без народа, одобрений, аплодисментов и оваций. Нельзя без теплых встреч и трогательных прощаний. Они становились частью общегосударственного ритуала.

На другой день городская газета «Забой», напечатав портрет главы правительства, официально сообщила:

«Товарищ Молотов посетил квартиры шахтеров и осмотрел строительство города Прокопьевска.

Товарищ Молотов спустился в механизированную коксовую шахту имени товарища Сталина — самую большую в Кузбассе. В беседе с руководителями шахты товарищ Молотов обратил внимание на необходимость исправления некоторых недочетов, препятствующих работе механизированной шахты.

Вечером товарищ Молотов выступил на слете горняков-ударников с докладом о внутреннем и международном положении».

И все.

За рамками сообщения осталось еще одно событие — автомобильная авария на дороге.

Событие, ординарное в любое другое время, могло привести к большим потрясениям.

Все-таки — председатель совнаркома, соратник...

Перепугался Грядинский, перепугался секретарь горкома Курганов, трухнула охрана, перепугался и сам Арнольд. Больше не за себя — за почетного гостя, которого ему доверили возить.

Выдержку выказал только сам Молотов.

Отряхнувшись и приведя себя с помощью услужливых чекистов в соответствующий высокой должности вид,

он велел ехать дальше, не нарушая намеченного графика.

Случай привел его на квартиру, где на вопрос: «Кто здесь живет?» услышал:

— Арнольд... Тот самый... который вас сегодня тряхнул.

Молотов погладил по головкам ребят (при воспоминании об этом Лидия Ивановна прикладывает руку к голове, словно до сих пор чувствуя руку важного, доброго дяди), кивнул, сказал, чтобы этому происшествию не придавали значения и не беспокоили водителя.

Предсовнаркома, конечно, авторитет, но на всякий случай бюро Прокопьевского горкома ВКП(б) объявило Арнольду выговор, записав в протоколе:

«Суть дела: во время управления машиной, в которой вез товарища Молотова, допустил халатное отношение в управлении машиной и поэтому заехал в канаву и свалил машину».

Наказание, согласитесь, не такое уж и страшное, другой бы, облегченно вздохнув, смирился, но Арнольд не согласился с решением бюро и написал Молотову. Молотов послал это письмо в Новосибирск, в крайком партии, а оттуда письмо вернулось в Прокопьевск. Учитывая мнение Молотова, бюро пересмотрело дело Арнольда и сняло с него взыскание.

Обо всем этом рассказал в судебном заседании по своему делу в октябре 1939 года бывший секретарь Прокопьевского горкома партии А. Я. Курганов.

Хотя выговор и был снят, но тревога уже никогда не покидала Арнольда. После 1 декабря, когда в Ленинграде убили Кирова, она усилилась. Все газеты разрывались от крика, призывая советский народ к бдительности, к поиску заговорщиков, вредителей и террористов. Говорить стало небезопасно даже в узком кругу.

Из Прокопьевска семья Арнольда переезжает в Анжерку. Смену места жительства расценят потом как замечание следов.

Здесь он снова становится начальником гаража. Работа не из легких. Машин мало — 30 штук на все рудоправление. Половина простаивает из-за частых поломок и нехватки горючего. К тому же шоферы, вчерашние крестьяне, согнанные с земли, с трудом осваивают технику. Лошадку, другую живность иной раз и пожалели бы, а машина для них существо бездушное. Не подтянешь гайки, не подмаслишь — стерпит, не пожалуется. А то, что из строя одна за другой выходят, — не велика беда. Не свое — общее, а раз общее, то и горевать нечего. Государство богато, еще железо намастрячит — кругом индустриализация.

Как ни бился Арнольд, как ни строжил и к совести ни взывал, а дисциплину в гараже не мог наладить, за что городская газета «Борьба за уголь» хорошенько пропесочила его. Один заголовок чего стоит: «Преступная халатность в гараже!» Куда еще хлеще: хватай, суди, сажай!

К критике привыкли. Сложнее привыкнуть к заголовкам-призывам: «Уметь распознать врага», «Зорче бдительность к врагам народа», «Раздавить гадину!»

Исчезали друзья, пропадали соседи, знакомые. Все догадывались, кто за ними приходил, куда уводили, но вслух ни гу-гу. Боялись. Каждый ждал своей очереди.

— 6 сентября, — рассказывает Александр Васильевна, — муж после работы ушел вести занятия на курсах шоферов. Время близилось к полуночи, а его все нет. Заволновалась я. Вскоре в квартиру зашли работники НКВД (были они в гражданской одежде) и без всяких церемоний, без предъявления документов начали обыск. Все пе-

ревернули, искали даже в банках с вареньем. Ничего не нашли. По крайней мере, мы не видели, чтобы они что-то при обыске или при уходе взяли с собой. Наказали только, чтобы мы не выносили из дома вещи, берегли их.

На другое утро мне позвонили на квартиру и сказали, чтобы я принесла на вокзал одежду и обувь для мужа. Прибежала я, передала мужу, что собрала. Он мне сказал тогда: «Не волнуйся, ничего особенного нет. Разберутся, и я вернусь». Я со спокойной душой пошла домой...

Анжеро-Судженск — на Транссибирской магистрали. Отсюда — на запад, отсюда — и на восток.

— ...Больше мужа я не видела, — продолжает Александра Васильевна. — Трижды ездила в Новосибирск, но до него не допускали. А когда приехала еще раз, сказали, что его куда-то отравили.

Приехала домой, в горотдел пошла. Толком там ничего не разъяснили, сказал только один с усмешкой: «Если спросит кто-нибудь об Арнольде, скажите: мой муж — бродяга».

Версия о бродяжничестве не зря возникла. Ее хорошо разработали следователи, она громко прозвучала и из уст Вышинского.

Вышинский: Подсудимый Арнольд, как ваша настоящая фамилия?

Арнольд: Васильев.

Вышинский: А имя, отчество?

Арнольд: Валентин Васильевич.

Вышинский: Почему вы называете себя Валентином Вольфридовичем?

Арнольд: Когда я в Америке принимал гражданство, то по документам числился Аймо Вольфрид.

Вышинский: Вы американский гражданин или советский?

Арнольд: Сейчас советский.

Вышинский: А в Америку вы попали советским гражданином или американским?

Арнольд: Я туда попал финским...

Как видно, обвиняемый не был ординарным человеком. Еще во время процесса «Правда» в передовой статье писала: «Троцкисты и германские диверсанты, используя международного проходимца, шпика Арнольда-Васильева, этого персонажа из уголовного романа, организуют покушение на тов. Орджоникидзе, а затем на тов. Молотова».

«Международный проходимец», «персонаж из уголовного романа» — откуда это?

В поисках ответа пришлось покопаться в архивах, раз за разом перечитать стенограмму процесса, перелистать подшивки старых газет. И, конечно же, бесценным материалом стали воспоминания Александры Васильевны и Лидии Ивановны.

...Родился Валентин в 1894 году в Петербурге. Когда ему исполнилось десять месяцев, мать отослала его своему отцу, в Выборг, где тот служил церковным сторожем. Вскоре родители умерли. Умер и дед. Опекуном стал дядя. Мальчика он не баловал, приучал к самостоятельности, и тот уже в тринадцать лет стал сам зарабатывать деньги.

Выборг — город портовый. Здесь и финны, и норвежцы, и русские, и немцы, и англичане. Здесь большие корабли и крылатые парусники, а кто живет рядом с ними, тот непременно мечтает о дальних странах.

Валентину легко давались чужие языки. Не гнушался он и тяжелого матросского труда, привык к лишениям.

Чтобы увидеть свет, он нанимался юнгой или кочегаром и несся в Германию, Японию, Швецию, Англию, Америку. При поездках волей-неволей приходилось менять паспорта, а

с ними и фамилии. Ничего хитрого в те времена в этом не было. Фамилии меняли не только любители приключений.

В Германии Валентин был Карлом Раском, в Финляндии — Аймо Кюльпененом, в Америке назвался Арнольдом, да так и остался им на всю жизнь, приписывая иногда к иностранной фамилии русскую — Васильев.

В Америке выпало служить в армии — так легче было выжить. Но был не строевиком — оружием не размахивал, а инструктором автодела.

Техника была его страстью. Еще в Германии, в Гамбурге, работая в гараже, он с любовью ухаживал за машинами, знал каждую до последнего винтика, но, увы, за руль редко садился.

Когда перевалило за двадцать пять, пришла тоска по родине. Что там с ней? Газеты пишут самое разное: одни со злобой, другие с сочувствием. Пишут о высоком духе и крайней бедности. Совдепию приветствовали и проклинали. Передовые рабочие Америки решили делом помочь молодому государству, организовав общество технической помощи Советской России. По плану, одобренному В. И. Лениным, была сформирована специальная группа рабочих и инженеров. К американцам примкнули немцы, голландцы, бельгийцы, французы, русские эмигранты. Приехав со своими инструментами и запасом продовольствия в Кузбасс, они организовали Автономную Индустриальную Колонию и взялись за восстановление шахт, за строительство химзавода и других предприятий.

Знаток языков и техники, Валентин Арнольд стал своим человеком среди иностранцев. Работал переводчиком, управделами химзавода, заведовал транспортом. В Кемерове женился на девушке из деревни, стал счастливым отцом двух сыновей. В семье

жила также старшая сестра жены с тремя ребятишками.

— Я никогда не верила, что Валентин Васильевич какой-то вредитель, — говорит Александра Васильевна, не отрывая взгляда от фотографии, пожелтевшей от времени. — Я не могла этому поверить, потому что человек с такой доброй, отзывчивой душой, человек, который в любое время при любых обстоятельствах готов прийти на помощь попавшему в беду, человек, который не может спокойно видеть несчастье и горе других, не может быть плохим.

— Моя мать всегда успокаивала тетьку Шуру, — добавляет Лидия Ивановна. — Всегда говорила: «Да что ты расстраиваешься? Да если Арнольд не партийный человек, какого им еще черта надо!»

— Я так думаю, — вздыхает Александра Васильевна, — нельзя долго быть в двух лицах.

У блюстителя закона А. Я. Вышинского были другие убеждения, чем у простой, любящей своего мужа женщины. Если надо, он всегда готов доказать, что каждый человек смахивает на двуликого Януса. Правда, система доказательств была весьма странной, но когда их не хватало, ограничивались признанием обвиняемых. Тоталитарный режим давно приучил людей к странностям. Черное принималось за белое, поражения — за победы, казарменная жизнь — за социалистический рай.

Процесс «параллельного троцкистского центра» был связующим звеном двух других московских процессов: «объединенного троцкистско-зиновьевского центра» и «антисоветского правотроцкистского блока». Хотя сейчас мы знаем, что никаких «центров» и «блоков» не было, все это выдумки

кремлевского режиссера — И. Сталина.

Не стало Каменева и Зиновьева, но оставались еще Бухарин и Рыков — последние могикане ленинской гвардии. Сталин решил расправиться с ними с помощью Пятакова, Радека, Сокольников и Серебрякова, а заодно накалить обстановку в стране. Надо было убедить народ, что они заправляли центром, идейным вдохновителем которого был сам Троцкий. Вышинский вместе с Ягодой и Ежовым приняли задание к исполнению. Усердие проявили они не по разуму, так что вскоре сами наркомы внутренних дел стали жертвами нагнетаемого психоза. Но это будет потом, а пока создавалась легенда о террористических группах во всех уголках страны. Обвиняемые охотно рассказывали о встречах с Троцким и его сыном Седовым, о взрывах на шахтах и авариях на железных дорогах, о готовящихся покушениях на руководителей партии и страны.

Мы все ломаем голову: почему люди оговаривали себя? Вроде бы и о пытках знаем, и о шантаже, а все не верится, все хочется самим добраться до сути.

В недавно опубликованных материалах по «параллельному центру» (Известия ЦК КПСС, 1989, № 9) приводится такой эпизод: на одном из допросов в Верхне-Уральской тюрьме 10 июня 1938 года В. В. Арнольд заявил:

«...После моего ареста в Анжерке 6.IX.36 года во время следствия в Новосибирске следователем мне было заявлено: «Нам известно, что вы из себя представляете, и мы располагаем достаточным материалом, чтобы обвинить вас в шпионаже, но сейчас мы тебя обвиняем как участника террористической организации и др. показаний не требуем, выбирай, кем хочешь быть, или шпионом, или терро-

ристом?» На поставленный передо мной вопрос я ответил, что являюсь участником террористической организации и обязуюсь дать показания».

Как правило, следователи «просили» также подумать о семье. Грешно упрекать в таких условиях человека за капитулянтство. Но следователям мало того, что Арнольд согласился стать «боевиком». Они лепят образ террориста. Он, естественно, — авантюрист, бродяга, антисоветчик, распространяющий анекдоты среди иностранцев, приспособленец и... масон.

Вышинский: А вы были членом масонской ложи?

Арнольд: Был.

Вышинский: Как вы попали в масонскую ложу?

Арнольд: А это когда я был в Америке, я подал заявление и поступил в масонскую ложу.

Вышинский: Почему в масонскую ложу, а не в какую-нибудь другую?

Арнольд: Пробивался в высшие слои общества.

Стенографистки отметят в этом месте особой закорючкой — «общий смех в зале».

Вышинский: В Америке вы не были связаны с коммунистической партией?

Арнольд: Был связан, принимал участие в работе коммунистической партии в 1919 году.

Вышинский: А в масонской ложе?

Арнольд: И в масонской ложе одновременно состоял.

Вышинский: Когда вы с троцкистами сошлись?..

Стоп. Теперь должно быть все наверняка ясно, для чего понадобилось делать из Арнольда масона. Идея всемирной революции, с которой носился Троцкий, подменялась сверхидеями мифических масонов править

всем миром. Вот кто они, вчерашние оппозиционеры, а сегодня — вредители, заговорщики, шпионы, террористы!

Вышинский: Расскажите, пожалуйста, подробно, как была организована попытка совершить покушение на жизнь товарища Молотова? Кому вы дали такое поручение, кто это организовал?

Вопрос задан Николаю Ивановичу Муралову, члену партии с 1903 года, одному из руководителей Московского вооруженного восстания в октябре 1917 года, члену реввоенсоветов и командующему военными округами. Арестовали его в Новосибирске, где он возглавлял сельхозуправление рабочего снабжения «Кузбасстроя».

Муралов: Я поручил это Шестову...

Эта фамилия уже встречалась нам. Алексей Александрович Шестов был заместителем управляющего «Сибирь-уголь» (г. Новосибирск), управляющим Анжеро-Судженским угольным и Салаирским цинковым рудником.

Муралов: Он сказал мне, что у него есть уже подготовленная группа, во главе которой, кажется, Черепухин, и что подготовлен шофер, который готов пожертвовать своей жизнью, чтобы лишить жизни Молотова...

Арнольд: Я ответил, что сделаю. Я подал машину к экспедиции. Место, в котором я должен был сделать аварию, я знаю хорошо: это около подъема из шахты № 3. Там имеется закругление, на этом закруглении имеется не ров, как называл Шестов, а то, что мы называем откосом — край дороги, который имеет 8—10 метров глубины, падение примерно до 90°. Когда я подал машину к поезду, в машину сели Молотов, секретарь райкома Курганов (так в стенограмме — Б. А.) и председатель краевого исполнительного комитета Грядинский...

Мне сказали, чтобы я ехал на рабочий поселок по Комсомольской улице. Я поехал. Когда я стал только выезжать с проселочной дороги на шоссе, внезапно навстречу мне летит машина. Тут думать мне было некогда, я должен был совершить террористический акт. Смотрю, вторая машина летит мне навстречу. Я тогда понял, что Черепухин, значит, мне не поверил — послал вторую машину. Я думать долго не успел. Но я испугался. Я успел повернуть в сторону, в ров, и в этот момент меня схватил Грядинский и сказал: «Что же ты делаешь?»

Шестов: Арнольд был заведующим гаражом. Он опытный шофер. Причем, как мне говорил Черепухин, он даже предусмотрел дополнительную страховку. Она заключалась в том, что если почему-либо Арнольд сдрейфит, вторая грузовая машина, идущая навстречу, должна ударить в бок легковую машину, так что обе машины должны были полететь в овраг.

Действительно, Арнольд вез Молотова, повернул руль и тем самым дезориентировал тяжелую машину. Молотов и другие сидящие, в том числе и Арнольд, вылезли из уже опрокинутой машины...

Следователям здорово пришлось поработать, чтобы свести концы с концами, потому что о покушении говорили и Пятаков, и Муралов, и Шестов, и Арнольд. Но вот казус: ни один из них, кроме Арнольда, на месте аварии не был, о самой аварии знали понаслышке. Никакой технической экспертизы и тем более следственных экспериментов по данному эпизоду не проводилось. Не было и свидетелей: ни Грядинского, ни Курганова, ни... Молотова. Даже показаний их не было.

Еще большее удивление вызывает

другой теракт. Обратимся еще раз к стенограмме.

Вышинский: Ну, рассказывайте. Что же у вас пропал вдруг голос? Когда организовывали террористические акты? Против кого?

Арнольд: Против Орджоникидзе.

Вышинский: В чем он заключался?

Арнольд: Заключался он в том, что мне конкретно Черепухин сообщил, что «завтра приезжает Орджоникидзе. Смотри, ты должен будешь выполнить террористический акт, не считаясь ни с чем».

Вышинский: Ну и что?

Арнольд: Я это предложение принял. На следующий день я подал машину, потому что я, как начальник гаража, как член партии, был вне всякого подозрения. Подал машину к поезду. В нее сели Орджоникидзе, Эйхе и Рухимович (управляющий «Кузбасс-угля» — Б. А.). Я повез их на немецкую колонию, а оттуда они просили меня поехать на Тырган, а когда мы въехали в гору, то меня попросили остановиться на горе, чтобы посмотреть на весь Прокопьевск. Потом остановились у комплексной шахты № 7-8-9. Черепухин меня предупредил, что там все готово: «Там увидишь препятствие, и на этом препятствии совершишь аварию». И вот, когда я спускался с горы, я развил довольно большую скорость, километров 70—80 в час, и примерно за полтора километра увидел препятствие. Я сразу подумал, что это как раз то место, я не знал, что со мной случится... Поэтому я уменьшил скорость, быстро остановился, а потом свернул на мост налево, а должен был ехать прямо.

Вышинский: Не решились?

Арнольд: Не смог этого сделать.

Вышинский: Не смогли, не решились? Это наше счастье...

На суде никому в голову не пришло уточнить, что же за препятствие соорудил злой человек Черепухин, главарь местной троцкистской тербанды? Дальше — больше. Арнольд говорит, что он встретил Орджоникидзе «в 1934 году, в начале года, вернее сказать, весной». Я перерыл все доступные мне документы, но нигде не нашел подтверждения тому, что в указанное время Серго приезжал в Кузбасс. Он приезжал в 1933 году. Об этом много написано, это стало событием в истории Кузбасса, но в 1934-м... Допустим, Арнольд ошибся в годах, но как перепутать раннюю весну с жарким летом? Не так-то это уж давно и было. Наверняка эта легенда родилась в кабинетах Лубянки, и Арнольд, единожды солгав, мог так же живописно рассказывать о покушениях на других вождей, а присутствующие в Октябрьском зале Дома Союзов «инженеры человеческих душ» А. Фадеев, А. Толстой, П. Павленко, Л. Никулин, Лион Фейхтвангер, принимая добротную работу следователей за откровения раскаявшегося террориста-неудачника, гневно выступали потом в газетах против «убийц, заговорщиков, отщепенцев, бесстыдно-голеньких ручных обезьян фашизма». Волей-неволей, подвергаясь тотальному гипнозу, они сами становились участниками великого покушения на здравый смысл и простую человеческую логику.

Процесс оставил много загадок. Их не разгадать до тех пор, пока исследователи будут пользоваться только тем, что им дают. Обещания хранителей тайн общи и туманны. Вот и приходится делать выводы на сопоставлениях и догадках, выдвигая версии в меру собственной фантазии.

Арнольд оговорил себя, и мы те-

перь знаем, почему: из двух зол выбирают меньшее. Можно ли упрекать его в этом, если известно, что следователь по особо важным делам Курский, получивший за успешную подготовку по делу «параллельного центра» орден Ленина, вскоре покончил с собой?

Совесть заговорила или страх обуял?

Не бросает ли этот факт — отнюдь не исключительный — ответ на все методы «раскалывания» подследственных?

Но есть и другие факты.

Бывшие следователи, прокуроры, судьи, охранники — вертухаи — с философской безмятежностью взирают на те «35-й и другие годы», вальяжно утверждая, что они честно выполняли свой долг.

«Если надо...»

Совесть для них — понятие весьма абстрактное. Они получали персональные пенсии, к праздникам начищали ордена, а некоторые даже пером баловались: писали, по примеру небезызвестного Льва Шейнина, мемуары, романы и повести о бдительных чекистах.

Хочется узнать о судьбе того новосибирского, пока безымянного, следователя, который советовал Арнольд лучше признаться в терроризме, чем в шпионаже.

Благополучно ли дни его закончились? Впрочем, на «ихнего» брата тоже свое лихо выпало, и не удивлюсь, если узнаю, что ему, как и начальнику Новосибирского областного управления НКВД Г. Ф. Горбачу, приписали попытку своими провокационными действиями дискредитировать и запятнать героическое знамя славных чекистов. А за это — к стенке. К той самой, к которой еще вчера сами ставили безвинных людей.

Все привлеченные — 17 человек — по делу «параллельного центра» были признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. 13 человек суд приговорил к высшей мере, четверым дал срок. Но уже в мае 1939-го не стало Сокольников и Радека: убиты сокамерниками. Остались двое: бывший главный инженер треста «Кузбассуголь» М. С. Строилов и Арнольд.

У меня в руках — три его письма. В Сталинск. Племянникам.

«Уведомляю, что я жив и здоров и нахожусь в гор. Орле. Вот пошел уже 4 год, как я не имею писем от моей жены, а поэтому не знаю, где находится мое семейство».

Чуть позже, в апреле 1941-го Арнольд пишет:

«Физически я здоров, но психически страдаю, думаю очень много, есть о чем думать, когда жизнь как разбитое корыто. Но и унывать нельзя. Что было, то прошло и уже не воротится. Но жизнь еще впереди — жена, ребята — все же сердце болит о них, о их судьбе. Как хочется с ними! Все же как ни тяжело — я надеюсь, я верю, что еще буду жить, буду работать и докажу...»

Далее зачеркнуто, вымарано.

Обратился к криминалистам. Посмотрели они письмо — руками развели: цензор зачеркнул теми же самыми чернилами, какими Арнольд писал, — техника тут пока бессильна.

Уступая моим настойчивым просьбам, все-таки взялись попробовать прочесть письмо с помощью... иглы. Вгляделись в очертания букв, поводили обыкновенной иглой по вычеркнутым словам и выдали: «...что это наказание грубейшая ошибка».

Присутствующие на процессе писатели, журналисты, иностранные дипломаты и наши передовики-ударники

не видели на лицах обвиняемых следов насилия. Сам Вышинский подчеркивал гуманный характер ведения следствия, а Радек даже растроганно заявил: «Если здесь ставился вопрос, мучили ли нас во время следствия, то я должен сказать, что не меня мучили, а я мучил следователей, заставляя их делать ненужную работу».

Тронуться можно — защитники были. Были для того, чтобы не дай бог кто-то подумал в стране и тем более — в мире, что в СССР творится незаконно.

Но как они выполняли свой профессиональный долг? Читаешь, к примеру, речь Казначеева, адвоката с именем, и диву даешься: то ли защищает Арнольда, то ли подтверждает выдвинутые против него обвинения. Что ни предложение, то вопросительный или восклицательный знак — в умении ораторствовать не откажешь.

— Как Арнольд выполнял задание, полученное им от Шестова и Черепухина? — вопрошал именитый адвокат. — Шестов говорит, что когда это задание давалось, то от Арнольда требовали самопожертвования. Арнольд дал твердое обещание пожертвовать собой.

На самом деле, как мы знаем по материалам дела и как это совершенно правильно отметил тов. Вышинский, благодаря трусости Арнольда и благодаря тому, что в нем проснулся инстинкт самосохранения, он не решился провести до конца это гнусное задание. Террористический акт, к счастью всего советского народа, не был совершен! В трусости Арнольда, в том, что он в обоих случаях пытался обмануть троцкистскую организацию, в значительной степени нужно искать причину того, что эти гнусные акты не были совершены! Арнольд по этому моменту дает, мне кажется, искренние показания, ибо никаких других мотивов, которыми бы он руко-

водствовался, мне кажется, и предположить нельзя. «Я как никогда в жизни испугался...» «Я не хотел умереть или остаться калекой». Вот мотивы, которые руководили им в этот момент!.. Уликовая ситуация совершенно ясна.

Заученным, отрететированным было и последнее слово подсудимого Арнольда:

— ...Я уже на суде об этом говорил и еще раз подчеркиваю, что, имея слабое политическое развитие, я не был в состоянии разбираться в сложных вопросах политики, и в результате я очутился под влиянием таких сильных троцкистов и оказался членом их организации. Я принимал участие в преступлениях против передовых руководителей партии и правительства, поднимая на них руку. И я очень рад, что это мне не удалось. Я осознал свое гнусное преступление и сразу же уехал из Прокопьевска. Я старался искупить работой свой гнусный поступок.

На предварительном следствии и здесь на суде я признался во всем, что во мне больше ничего грязного нет. Я никогда не чувствовал свою биографию такой чистой, какая она есть сейчас, после того, как я рассказал обо всем том, что было со мною. Граждане судьи, я — еще не совсем потерянный человек. Я еще могу работать и быть полезным тому обществу, из которого я сам вышел. Несмотря на то, что я совершил большое преступление, несмотря на то, что прокурор требует высшей меры наказания в отношении меня, я все-таки прошу сохранить мне жизнь, и я постараюсь ее оправдать не на словах, а на деле...

Уже находясь в тюрьме, В. Арнольд утверждал, что процесс был «политической комедией, никакого участия в

подготовке покушения против В. М. Молотова он не принимал и вообще все это дело — «мыльный пузырь»*. Но прозрение пришло слишком поздно. Тень «врага народа» легла и на его семью.

— Когда его осудили, — рассказывает Александра Васильевна, — ему разрешили писать домой. Два письма в месяц. Полгода мы переписывались. — А письма сохранились? — вырвалось у меня.

— Что вы!.. Меня же тоже взяли. Ровно через год. Думала, через 10 лет я его все равно встречу, а уж когда меня посадили, когда началась война, я уж сразу поняла, что он оттуда живой не выйдет. Когда меня взяли, детей сразу в детдом отправили.

Я всматриваюсь в письма, написанные неустойчивым детским почерком. «Мама, если бы ты узнала, как нам тут не нравится. Река мутная, мелкая, даже негде поплавать. Я думаю, что недолго нам жить в разделе. Скоро опять будем жить дружно и весело. Мама, напиши, как ты себя чувствуешь, не болела ли? У нас тут много разных грибов и ягод. Мама, я здесь сильно расплатался, но сейчас исправляюсь. У нас есть мастерские, я работаю в слесарной. Но одно мне, мама, стыдно — Лида перегнала меня по учебе. Мама, я даю слово, что этот год я буду учиться на «хорошо» и «отлично». Когда нас привезли, меня поставили в четвертый класс, а Толю в 1 класс».

Сначала под письмами стояли две подписи: Арнольд Юра, Арнольд Толя — автографы. Потом братьев разлучили и письма приходили с одной подписью. А однажды пришла вот такая бумажка:

«В ответ на Ваше письмо сообща-

ем, что Арнольд Ю. В. был передан из Ремесленного училища № 2 в распоряжение отдела кадров Уралвагонзавода».

Обращайтесь, в общем, туда-то...

Человека передали, как вещь. Впрочем, такими и были люди — винтиками. Их можно было передать, обменять, подкрутить, поставить на место.

Передали Юру на славный Уральский вагоностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского, но там не сохранили.

«Отдел кадров Уралвагонзавода на ваше письмо сообщает, что Арнольд Юрий Валентинович умер 7-го марта 1941 года от заражения брюшины.

Его мать прислала в отдел кадров телеграмму с запросом о сыне, но адрес свой не написала, поэтому мы не знаем, куда давать телеграмму на ее имя. Просим Вас, если вы знаете ее место жительства, сообщите ей об этом».

Не могла Александра Васильевна написать своего адреса: то не разрешали, то часто менялся он.

Томск. Нарым. Яя. Анжерка.

Швейей работала и уголь грузила. Сколько тонн за войну перелопатила, не сосчитать. А потом дали двадцать четыре часа на выезд из города. И обрадовалась — свобода! И растерялась — куда ехать?

Прибилась к родственникам. В пятидесятых писала запросы об Арнольде. Никто толком не отвечал, из одного места в другое переписывали.

В 1957 году получила конверт. Открыла, а там свидетельство о смерти. Написано: умер 10 марта 1943 года, причина смерти — не установлена. Что-то не совсем верилось в это. Тридцать лет сомнения одолевали, а потом взяла и написала в редакцию: «...хотелось бы узнать причину смерти и место захоронения моего мужа».

Это-то письмо и попало мне в руки. Об Арнольде я уже делал первые на-

* Известия ЦК КПСС, 1989, № 9, стр. 41.

броски, и представьте мою реакцию, когда я увидел знакомую фамилию в письме его жены. Поехать сразу к ней не смог: еще набирался сил после операции на сердце, а живет-то она далеко, в Горной Шории. Чтобы не терять времени, написал в Верховный Суд СССР, высказал свои соображения: поскольку Орел был взят немцами 3 октября 1941 года, то и В. В. Арнольд, вероятно, погиб не позже этой даты, а не 10 марта 1943 года, как заявлено в загсовском свидетельстве.

На неразворотливость работников Верховного Суда пожаловаться не могу — быстро ответили, все подробно расписали.

«По имеющимся у нас сведениям **АРНОЛЬД** Валентин Вольфридович (он же **ВАСИЛЬЕВ** Валентин Васильевич) осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР 30 января 1937 г. по так называемому «параллельному антисоветскому центру» за покушение на совершение террористического акта против Председателя СНК СССР В. М. Молотова и участие в антисоветской организации к заключению в тюрьме сроком на 10 лет, с поражением прав на 5 лет, с конфискацией имущества. Позже по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 8 сентября 1941 года на основании ст. 58-10, ч. 2, УК РСФСР (редакция 1926 г.), т. е. за антисоветскую пропаганду и агитацию, Арнольд (Васильев В. В.) осужден к расстрелу».

Два официальных документа: свидетельство о смерти и письмо Верховного Суда СССР. В обоих — один человек, а даты смерти его — разные. 1941 год, конечно же, наиболее точен. 1943-й — с потолка. Думали казенные люди, не все ли равно, когда человек умер, а оказалось, не все равно, и большинство сразу же почувствовало ложь в бездушных документах. Ложь,

как шило в мешке, выпирает. В самом деле, вдумайтесь: сидящего в тюремной камере человека расстреливают по статье 58-10, часть вторая. Не камера, а агитпункт, выходит. Не легче ли предположить, что срочно избавиться от людей хотели. Вот-вот в город ворвутся немцы, не оставлять же им «политических». Долой их, к стенке!

Арнольда — к стенке!

Эсерку Спиридонову — к стенке!

Троцкиста Раковского — к стенке!

Профессора Плетнева — к стенке!

Гремят выстрелы в глухом лесу, за один день сто пятьдесят четыре человека угрохали.

А может, зря. Пусть эсерами были, троцкистами, пусть анекдоты рассказывали, но ведь война же, Отечество в опасности! Дайте людям шанс — окопы рыть будут, в бой пойдут.

Побоялись. Своих людей побоялись. Последние патроны — каждый на вес золота — на них не пожалели. Идеи, принципы — превыше всего!

...17 сентября 1934 года.

В доме Васильевых (Арнольд хоть и красивая фамилия, но все-таки чужая) — высокий гость.

— Мы как раз из бани пришли, — тихо рассказывает Лидия Ивановна, — тетя Шура корову доила, а наша мама стряпала блины. Мне смутно помнится, мне кажется, что небольшой моросил дождичек. Зашел. У него или плащ или пальто было, а в руках шляпа. «Чья квартира?» — спросил. Ответили, что квартира Арнольда. Он поближе подошел, погладил нас по голове: молодцы! Ну, а потом спросил: «Я что-то не помню... Арнольд, Арнольд...» А это, говорят, тот самый, который сегодня вас потрянул... Ну, а потом Молотов сказал: «Ну, ничего, он больше этого не будет»...

Гость оказался Черным человеком. Потом он сам узнает, что такое

разлука с близкими, Сталин не щадил никого. Он словно вымещал злобу, рожденную собственным семейным неблагополучием, на других. Не зная родственных чувств, он рушил чужие семейные связи. Надо же придумать: «члены семьи врага народа», «жена врага народа». Даже справедливое вроде бы — «сын за отца не отвечает» — он превратил в формулу ненависти.

Изменились ли мы с библейских времен?

Иногда кажется, только внешне. По-другому одеты, обуты, другие крыши над головой, а в душе та же корысть, те же зависть и злоба. Не они ли рождают потребность в тиранах? Не они ли делают нас рабами?

И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Тогда Бог сказал в великом гневе: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли».

Говорят, время лечит. Но не успокаиваются люди. Они хотят знать все до конца. Они хотят знать, где кончилась жизнь их родителей или близких родственников.

Куда нести цветы?

Где могилы их? Не все знают.

Зато всем хорошо известно, где похоронены главные вершители громких процессов и тихих особых совещаний — Сталин и Вышинский — и что есть у них еще защитники.

...Где брат твой?

РУКОПИСИ МОЛОДЫХ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

В Кемерове в течение восьми дней проходил семинар молодых поэтов Сибири, организованный СПАСом — Сибирской Писательской ассоциацией. Организаторы семинара ставили перед собой цель не «открывать» новые таланты, а обсудить меры по оказанию помощи тем, кто уже был «открыт».

Обсуждались рукописи авторов, уже издавших по одной-две книжки: кузбассовцев Александра Каткова, Сергея Донбая, Бориса Бурмистрова и Иосифа Куралова, омичей Юрия Перминова, Владимира Красных, Сергея Яковлева, новосибирцев Анатолия Сорокина и Петра Родина. Руководили семинаром известные сибирские поэты Валентин Махалов (Кемерово), Борис Климычев (Томск), Татьяна Четверикова (Омск), москвичи Владимир Хохлов и Владимир Марков, Надежда Мирошниченко из Сыктывкара.

Высокую оценку получили рукописи кузбассовцев. Все четыре автора были рекомендованы от имени СПАСа для вступления в Союз писателей СССР. Этой же чести удостоены Сергей Яковлев и Юрий Перминов. Все участники семинара стали членами Сибирской писательской ассоциации.

Следует отметить, что семинар проходил в рамках Федоровских чтений. Начался он в Новосибирске, в городе, где на заводе имени Чкалова работал в свое время Василий Федоров, а закончился на кузбасской земле, в деревне Марьевке, где родился и вырос этот замечательный русский поэт.

В. Ширяев

Илья Картель

АВТОГРАФ

Документальный рассказ

Меня до сих пор мучит одна загадка. Присмотритесь к моей левой щеке. Видите? Она внизу заметно полней правой. Это — след той загадки. Я в тысячный раз перебираю подробности того дня и все равно не могу до конца понять, кто же оставил мне автограф.

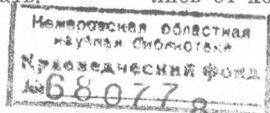
Помню, по второму удару в рельс, еще затемно нас вывели за зону. А пурга словно с цепи сорвалась. Ветер засыпал нам глаза снежной крупой, подбирался под наши заплатанные ватники, шатал сторожевые вышки-скворечники. «А ну еще дунь поуще, — сказал кто-то рядом со мной, — да вытряхни из теплых тулупов скворчиков. Пусть вместе с нами попляшут на холодке».

За воротами нас вдруг начали пересчитывать по новой. Конвою примерещилось, что кто-то из нас драпанул в снежную муть. Да это же ЧП из ЧП! О побеге «контрика» немедленно должна знать Москва и сам Лаврентий Павлович. Сбежит хоть с десяток уголовников — пустяки, это свои люди, а вот политический — о-о... И вот нас снова перебирают: «Первая пятерка, отходи. Вторая пятерка, вперед».

Колонна за воротами растянулась километра на полтора — мерзни, жди, когда доберутся до последней пятерки. Злитесь конвой: «У, бараны, в пятерках не могут разобраться. Будем морозить до вечера, пока не сойдется счет». Злимся и мы: сколько нас ни продержат за зоной, а свои 12 часов на рытье траншей мы все равно должны отработать.

Я хлопаю по плечам, подпрыгиваю, тру щеки и нос, но ветер тут же уносит добытое тепло. Досадно — впереди ведь еще ломик и лопата! И вдруг я веселею. В передней пятерке я вижу своего «придурка» — уголовника Бабаева, навязанного нам в бригадиры вольным лагерным начальством. Как же я его не заметил раньше? Меня развеселила его пляска от холода в хромовых сапожках. Ах, как он пляшет, какие выкидывает коленца, что я, любуюсь, даже сам перестаю подпрыгивать. А ну еще приударь! Так его, так, подбадриваю пургу, пусть, подлец и форсун, знает, как урезывать наши хлебные пайки, как вместе со своими шестерками процеживать нашу баланду. Ишь, прибарахлился: все на нем чужое, отобранное у других эзков, — хромовые сапожки, шерстяной бушлат, толстый голубой шарф вокруг шеи. Все-все. Я-то в своих безразмерных кордовых ботинках, набитых тряпьем, как-нибудь потерплю, а каково тебе в сапожках с одной портяночкой? А ну еще притопни ножками, да повыше, повыше каблук!

Я с первой встречи невзлюбил Бабаева, узбека по национальности. И не за национальность и его статью «гон-стоп — что везешь», а за замашки, которые мне напоминали привычки многих больших и мелких начальников — все грести под себя. Жил он, как и все руководящие «придурки» из заключенных, в отдельной кабине — на нарах, отгороженных ото всех фанерными щитами. Мы корчились от холода, прижимались друг к дру-



гу, под своими же дырявыми ватниками, клали головы не на подушки, а на ботинки. А у него в кабине подушки, стеганое одеяло, полочки с разным добром, которое мы видели только во сне. Когда его прислужник — шестерка, здоровенный пучеглазый мужик, подвел меня к кабине, он недовольно пошевелил бакенбардами и нехотя спустил ноги со второго яруса нар.

— Почему такой худой и длинный? — спросил новый бригадир на чистом русском языке без акцента. Видно, он тянул уже не первый срок и давно избавился от акцента. — Наверное, филонил малый, пайку зарабатывал, а? Но у меня, у Бабаева, не пофилонишь. У Бабаева везде рука, Бабаева весь лагерь знает. Не будешь давать норму — посажу на «птенчика». Знаешь, такого маленького птенчика? Потом совсем в шизо отправлю, а оттуда в деревянный бушлат. Понял? Ну иди. Завтра выше головы землю бросать будешь.

Я уже побывал во многих лагерях, валил лес, копал траншеи, но такого строительного объекта, какой я увидел под Новосибирском на следующий день, еще видеть не доводилось. Начинали здесь строить авиазавод, а нам твердили, что строится банно-прачечный комбинат. Нашли дураков, будто среди нас не было ни инженеров, ни техников, ни вообще образованных людей. От одного забора не видно было противоположного забора, и вся площадка в кольце заборов напоминала марсианский пейзаж, изрытый загадочными каналами. Заключение человека на этих каналах трудилось столько, что их хватило бы на заселение целого города. Кого только не было среди копошившихся в глубине каналов — колхозники, учителя, инженеры, токари, слесари, академики, ученые, журналисты, армейские капитаны и майоры. И над всеми нами, копателями земли, были поставлены самые привилегированные, самые близкие к лагерному начальству, — уголовные преступники. В их ру-

ках было все — кухни, хлебобрезки, продукты питания, склады одежды. Они распоряжались нашими пайками и нами самими, могли миловать, забросить за кого-нибудь словечко перед начальством, а могли и загнать в бур — барак усиленного режима. Они были как бы дополнительными руками лагерного начальства, лежащими на нашем же горле.

Бригадир сказал правду: землю на объекте действительно пришлось бросать выше головы и притом с двойной или даже тройной перекидкой с помостей на помости. Траншеи рылись до того глубокие, что сверху в них страшно было смотреть, а выбраться из них наверх можно было только при помощи руки товарища, стоявшего наверху.

Скоро я узнал, что два эка из нашего же барака сами не берут в руки ни лопата, ни лопаты и лишь обслуживают самого «придурка» — бригадира. Где-то достают чай и готовят для своего эмира чифир, подают ему в кабину еду и курево. По утрам до развода ходят за хлебом и баландой на всю бригаду, при этом прежде чем раздавать принесенное, урезают наши пайки, процеживают баланду, оставляя гущину себе. Потом на наши выкроенные пайки покупают себе у других эзков-доходят «вольные» рубашки, сапоги, свитера, шарфы. Вольную одежду дальше через расконвойных заключенных уголовников можно сбыть за зону в обмен на сало, сахар, конфеты и даже водку.

Один раз я не вытерпел и при раздаче паек — как раз здесь дымил папиросой Бабаев — при всех сказал: «Что же это делается, братцы? До каких пор, не работая, будут половинить наши пайки? Это — грабег и без того голодных людей!» Но все молчали, каждый уткнулся в свою алюминиевую миску с баландой. До того мы были запуганы и затоптаны, что никто не выдавил из себя слово в мою поддержку. «Ну погоди, праведник!» — сказал мне один из шестерок и показал волосатый кулак. На следующее

утро он же мне первому бросил пайку на нары и добавил: «Ну, жуй, праведник. Смотри, не обгрызена, не обрезана».

Всем остальным двадцати семи человекам бригады пайки продолжали обрезать, целехонькую со всеми довесками отдавали пайку только одному мне. Ясно, догадался я, нетронутой пайкой хотят, словно кляпом, заткнуть рот мне. А если я уговорю кого-нибудь написать жалобу самому начальнику лагеря? Меня уже начинал захватывать сам поиск правды. Однако, кого бы я ни подбивал взять в руки карандаш, все мотали головами: мол, не сильны в грамоте, нет, мол, ее вообще, правды, правда только за зоной в общей могиле. Эх вы, люди, люди!.. Я сам взял в руки карандаш и накалал бумаженцию самому Шварцу, начальнику лагеря, недоступному для нас, как сам господь Саваоф. Дня через три меня вел к нему конвоир, и я не знал, радоваться или пугаться. Для достоверности скажу, что начальник полностью соответствовал своей фамилии — черный от бровей до густой шевелюры: ведь по-еврейски шварц и обозначает черный. «Разберусь, уведи», — кивнуло божество конвоиру после моей гневной исповеди.

Я не знаю, как разбиралось наше всевышнее — вызывало ли Бабаева к себе, или сделало внушение бригадиру через свою многочисленную свиту, — но наши пайки с тех пор так нагло, так откровенно перестали урезать. Шестерки и, конечно, сам бригадир по-прежнему не брали в руки лопат. Зато мне стало жить невмоготу. Я постоянно чувствовал на своей спине взгляд и самого Бабаева и его шестерок. По опыту на лесоповале я уже знал, что уголовники толкали на неугодного человека лесину, человек погибал, а потом на следствии убийцы с ухмылочкой твердили: «А что его жалеть? Он самого Сталина материл». — «Ах, Сталина! Ну тогда туда ему и дорога». И все, дело закрывалось и сдавалось в архив.

...Извиваясь, как змея, между косогами, наша колонна шла, шла, вдруг развалилась. Передние бригады пошли своей дорогой на строительство, а две последние бригады, человек шестьдесят, повернули вправо. Поведут на новый объект, догадались мы. А что дадут вместо ломиков и лопат?

Привели нас в незнакомую зону, тоже окруженную высокими заборами с колючей проволокой и сторожевыми вышками. Мы ведь никак не можем без заборов и сторожевых вышек. В зоне бесконечные, сваленные как попало горы леса, видно, предназначенного тоже для строительства авиазавода. «Берите в руки дринки, — сказал начальственный «вольняжка» с поднятым воротником, — и наводите порядок. Чтoб к вечеру все бревна были в штабелях».

Дринки, оказалось, не легче ломиков и лопат. Катать тяжелые бревна в штабеля высотой в 3—4 метра — тоже не печенье перебирать. Гляди да гляди в оба. Соскользнет нога в кордовом ботинке на резиновой подошве, и то же бревно прокатится через тебя. Катаем бревна по покатам вдвоем: один на одном конце, другой на другом. А пурга словно одурела: свистит, запорашивает глаза, не видно даже напарника.

Единственное, что меня немножечко утешает, так это то, что наш эмир и двое его мордастых нукеров тут же отираются между штабелями и, конечно, мерзнут. А ну, ну, померзните, потопайте, узнайте, как она, пайка, дается. На прежнем объекте, где уже было построено много разных сооружений с непонятными назначениями, они давали нам задания, а сами уходили в теплые помещения. Курили там, балагурили, заводили знакомства — на объекте штукатурами работали заключенные жидчины, — играли в карты. Мы их там отыскивали сами после сигнала на обед. К этому времени они сами уже успели отобедать и, разумеется, процедить нашу баланду. А тут не было теплых помещений, и «бедняжкам»

поневоле приходилось шататься возле нас. Мы потеем, а они мерзнут. Ах, горемычные, ах, несчастные! И никто из них, филонов, не догадается для согрева взять в руки дринков.

Не помню, зачем я спустился вниз и остановился между рядами штабелей. Помню лишь, что, когда поднял глаза, мне показалось, что небо упало на землю, а весь мир накрыла снежная пелена. Я не заметил, как прикоснулся конец бревна к моей щеке, не почувствовал никакой боли. Только помню, как, будто по тревоге, взвыли гудки и я полетел в бесконечно глубокую темную яму. Сколько я летел, столько и выли гудки. «Все, отмучился, — услышал я над собой. — Ушел должником на тот свет». До меня не сразу дошло, что эти слова относятся ко мне, я вообще не понимал, что со мной случилось.

Упал я головой на дорожку между штабелей, как понял потом, поэтому, видно, меня скоро заметили. А какой с того толк? Кто мне мог помочь? Ни телефонов, ни врачей поблизости не было. А зекам надо было зарабатывать свою пайку, смертью зеков не удивишь. Меня обдувал ветер, засыпал снег, но ничего этого я не видел. Когда пришел в себя, меня сковала боль, я не мог пошевелинуться. Так я, брошенный всеми, пролежал до самого вечера. Только на смеркании надо мною фыркнула лошадь и возчик, расконвоированный уголовник, сказал: «Ну, чё, еще не окочился? Повезу тебя попутно в лагерь на бревне. Как, удержишься?»

Я залез на комель бревна, лежавший на сани, обхватил его руками и ногами, и возчик дернул вожжами. Голова горела, словно ее поджаривали на огне, сознание мутилось, руки в ватных варежках прихватывал мороз, я беспрерывно хлопал ими по бревну.

В лагерной больнице, больше похожей на грязные мастерские, чем на лечебницу, меня положили на топчан в темном и тесном кожухе. У пострадавших лю-

дей обострены слух и зрение. Я слышал и, кажется, видел, как за стенкой умирала молодая женщина — роженица. Бог ты мой, как она мучилась! День и ночь кричала: «Ой, мама, ой, мамочка, помоги!»

Утром однажды роженица замолчала, и вскоре по полу простукали тяжелые мужские ботинки. Стало ясно — женщина умерла.

С другой стороны Катуха, из ординаторской, через стенку я слышал, как полуграмотная медсестра (говорила: «крант», «ложить», «леварверт»), жена одного из начальников лагеря, «пушила» врача, заключенную по 58-й статье. Медсестра орала на доктора, пожилую женщину, как на провинившегося ребенка, топала на нее ногами, оскорбляла и все повторяла: «А, вам советская власть не нравится. Да, да, не нравится». А доктор — а что другое она могла сделать? — только слабо отбивалась и твердила: «Нет, Елена Михайловна», «Верно, Елена Михайловна», «Да я не спорю, Елена Михайловна». Мне было больно и обидно за доктора, и я думал: «Страшная штука — власть. Вручать ее подлецам так же опасно, как обезьяне бомбу».

Меня привезли с открытым ртом, я не мог свести челюстей. Та же докторша, осмотревшая меня, сказала: «Разлом челюсти на мелкие кусочки. Нужен рентгеновский снимок. В Новосибирске никто не даст вам разрешения на рентген — статья не та! Надо добиваться отправки в Мариинск. Там есть рентген для заключенных».

А мне казалось, что эти кусочки шевелятся, задевают друг друга, царапают самое сердце. От боли я не мог уснуть, лез на стенку, боялся, что совсем свихнусь. Месяца три я ничего не мог жевать, питался одним чаем и баландой. Дня через три после прибытия стало еще хуже. Начался абсцесс. Левый глаз закрылся, лицо посинело. Я не кричал: давно усвоил, что крик и стон только усиливают боль. Мне становилось легче,

когда в мою тесную конуру, пахнущую клопами, заходила докторша и дотрагивалась до моей головы руками. «Ничего,— успокаивала она,— потерпите еще немножечко, скоро вас отправят в Мариинск. Каждый день напоминаю о вас начальству».

Из хаоса воспоминаний, где все свалено в беспорядочную кучу, мне иногда является образ той моей докторши. Невысокого роста, темноволосая, грудной голос. Как жаль, что память не сохранила ее имя. Да и как сохранить — пятьдесят лет нешуточный срок. Какова же ваша дальнейшая судьба, добрый доктор? Дождались ли вы сами своего звонка? Или отчаявшейся, потеряв последние силы, вместе с другими ушли в братскую могилу где-нибудь в логу под Новосибирском?

В минуты облегчения я спрашивал се-

бя: а кто же мне все-таки нанес удар? Ведь само собой бревно не могло скатиться вниз. Кто и как? Неужели мои противники специально следили за мной и, когда я спустился вниз, столкнули бревно? Все я выяснил бы сам, осмотрел бы место происшествия, спросил бы товарищей.

Но кто меня станет слушать, кто отпустит на тот лесной склад, окруженный забором и колючей проволокой? А может, все-таки ветер? Нет, нет! Да и что еще будет с моей челюстью? Я пока на крепкой железной цепи: рвись, кричи, грызи зубами железо — все бесполезно. Вот так-то: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

От невозможности что-то сделать и доказать у меня мутилось сознание. Я только шептал в глухую безответную стену: «Будьте вы навеки прокляты, сатрапы вождя, уголовники, палачи!»

Борис Бурмистров

* * *

Все больше зимние пейзажи
рисует мальчик, мой сосед,
и дарит девочке Наташе
и говорит: «Прекрасный цвет».

Белеет серый лист бумаги
под кистью юного творца.
Белеют рощи и овраги,
и снег белеет у крыльца.

Белым-бело во всей округе,
что уместилась в полотне,
и мчит малыш к своей подруге
на белом-белом скакуне.

Рисуй, малыш, все белым цветом,
пока так чувствует рука,
пока еще ты с белым светом
лишь познакомился слегка.

Николай Николаевский

ОБЛАКО

Облако белое,
Облако красное,
Облако горькое...
Облако.
Слово было в начале.
Да, было слово.
И сначала пред словом молчали,
Выбирая помягче, покруче...
А потом перед словом молчали,
Выбирая меж правдой и ложью.
Так зачем мы клянем бездорожье
И кричим на свинцовые тучи?!
Облако белое,
Облако красное,
Облако горькое...
Облако.
Входящий в храм
Главу несет повинно
И ожидает участи покорно.
А на него глядят святые лики
То грозно, то прощающе, то нежно.
Входящий в храм и жалкий, и великий,
И перед ним всегда зияет бездна.
Как отрешенно речь звучит с амвона.
Как ласточки, скользят под купол звуки.
Какое нынче время? Время оно.
Когда любовь, добро приносят муки,
А зло выходит ангелом из лона.
Облако белое,
Облако красное,
Облако горькое...
Облако.
Входящий в бой
Свое не помнит имя,
И слова он не знает, и не слышит.
Он погибает, жалкий, меж другими.
Он побеждает, он велик, он дышит.
Входящий в бой —
Из боя не выходит.

Входящий в храм —
Его не покидает.
Так почему на сумрачной дороге
Они вовек друг друга не минуют?!
Они всего лишь люди, а не боги.
Они всего лишь боги, а не люди.
Колючий ливень, жесткий дождь иудин,
Их с головы до пяток зацелует.
Облако белое,
Облако красное,
Облако горькое...
Облако.
Мир раскололся пополам,
Мир — хижинам, война — дворцам.
Война буржуям и богам,
Пусть пламя бьет высоко!
Огонь да путь осветит нам.
Мир раскололся пополам —
И взвился красный сокол.
Наверно, там, на небесах,
Сердца качались на весах.
Иконы — с пулями в глазах,
Церквушки — погорельцы.
Под храмы клали динамит.
Но если камень устоит,
То пошатнется сердце.
Ворвалась вера на пытках —
За вековой покорный страх,
За фимиами и ладан,
За мракобесия дурман
Приказом и прикладом!
Страна пожаром залита...
Мешалось и смешалось,
И Блок, увидевший Христа,
И Бог, издевавший хлыста,
И люд, услышавший «за Ста...»
Но слово оборвалось.
Облако белое,
Облако красное,

Облако горькое...
 Облако.
 Я, внук священника, не лгал,
 Когда я бога отвергал,
 Захваченный всеобщей битвой...
 Но жизнь моя была молитвой.
 Я нищих в губы целовал.
 ...И сам был нищ,
 И сам был слаб,
 Когда с канавы на ухаб
 Меня тянуло и кидало.
 И выжил я лишь потому,
 Что, развеивая мрак и тьму,
 Мне слово — слово подавало.
 Сейчас есть свет,
 Но веры нет.
 Лишь чувства говорят исповедально
 Без линзы, без туманного стекла:
 История тосклива и печальна,
 Действительность бодра и весела.
 Любая вера, вера — идеальна.
 А в практике — обычные дела.
 Газетных есть достаточно примеров.
 Огонь и пепел, ветер и зола.
 Какая нас еще поднимет вера?!

Душа б жила, не скурвилась, жила...
 Не для того наш паровоз
 На смерть бросал худых и босых,
 Чтоб через век великорос
 Копался в залповых отбросах.
 Не для того, не для того
 Россия мучилась, казнилась,
 Чтоб чистоту поела гнилость.
 Над нищим торжище глумилось
 И зло справляло торжество.
 Доверье... тоненький росток.
 Как близко — злоба и восторг.
 Как близко — Запад и Восток,
 Закат как близко — и восход.
 И человек — всему исход
 И в жизни и в поверьях.
 Доверье... тоненький росток.
 Воды и солнце — пусть растет!
 И губы шепчут наперед:
 Доверие, доверие...
 Облако белое,
 Облако красное,
 Облако горькое...
 Облако.

Александр Катков

* * *

А в этом доме пахнет отчим домом
 и карта пожелтевшая висит.
 Здесь кратки дни и так прощанья долги,
 да так, что замерли полночные часы.

Я вас храню! Любимые до смерти,
 до самой невозвратной темноты,
 родители, пожалуйста, не смейте
 со смертью разговаривать на «ты».

И так уже прощаний вышло столько,
 что в тамбурах, ходящих ходуном,

от Лейпцига и до Владивостока
 я забывал и родину и дом.

Когда-нибудь на этом свете белом
 зачтутся мне стихи мои и стыд,
 и я в своем стремленье очумелом
 вам так скажу, наплакавшись навзрыд:

«Но, может быть, божественная Муза
 меня вернет на родину, домой,
 туда, где спал под картою Союза,
 где не был обозначен хутор мой».

Юлия Лавряшина

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЧЕРНОЙ СТЕНЫ

ПОВЕСТЬ

Он ждал ее на обрыве уже второй час. Скомканные, сухие листья отчаянно хрустели, когда он чуть пододвигался, оглядываясь. Трава была уже бурой, пятнистой и не такой теплой. С этого обрыва хорошо был виден весь город, который Игорь так и не смог полюбить. Он пытался убедить себя, что здесь много веселых, беспашанных людей, но ему встречались угрюмые или раздраженные лица. У людей, живущих в этом городе, слишком много проблем, чтобы радость могла втиснуться хотя бы в прихожие их квартир. В их жилищах было неуютно и холодно, пахло сыростью и чернели потолки. Вам известно, что такое запах сырости от красивой женщины?

Их день состоял из попыток согреться, прокормиться и заработать. Им редко удавалось добиться всего этого разом, оттого радость всегда оттеснялась досадой. Дети, которых Игорь учил, болели потому, что их родители работали на заводах, отравляющих город. Они любили детей, но у них не было другой возможности прокормить их. День и ночь, в три смены, они методично убивали собственных детей, но старались думать не об этом, а о зарплате, плане и государстве, которое зачем-то жаждало крови их малышей.

Они думали о государстве, как их деды — о батюшке-царе. Оно было их заступником. Перед кем? От кого? Их кормильцем. Игорь рассмеялся. Государство было для этих людей загадочным идо-

лом, в жертву которому они приносили свои жизни. Не догадываясь о том, что государство — это они сами, люди создавали из него божество, которое можно и пожурить иногда, но вмешиваться в дела коего никак «не можно».

Газеты писали о пробуждающейся в этих черепных коробках гражданской активности. Люди читали это из года в год, но не понимали смысла этих слов. Но зато они слишком хорошо знали, что такое хамство, и их тешило, что теперь его называют так мудро. Газеты были гласом государства, которое находилось где-то очень далеко от их заброшенного, невеселого городка, куда яркие люди, как комета, залетали случайно, да так и увязали в уличной грязи.

— Выберусь ли я отсюда? — сказал Игорь вслух и поднялся.

Они договорились на одиннадцать, а сейчас шел уже второй час. Он не особенно рассчитывал, что Аля придет, но ему хотелось ее увидеть. Должно быть, ее муж не уехал, как собирался, на рыбалку. Он странный человек: может часами сидеть, глядя на бестолковый поплавок, ради нескольких отравленных рыбешек. Аля говорит, что все равно никогда не ест их и не дает сыну. Но этот человек, ее муж, снова и снова ездит на рыбалку.

Как-то Игорь спросил Алю: зачем это ее мужу. Она засмеялась и громко, быстро, зло проговорила:

— Я же знаю, что он с бабами ездит.

Я знаю это. Он думает, что я не догадываюсь, а я знаю. С самого начала знаю.

Он не стал спрашивать: откуда ей это известно. Он просто с досадой подумал, что Аля, наверное, только мстит с его помощью мужу. Не больше того. Он никогда не знал, что у нее за душой. Она не пускала никого в свой мир, и часто, когда Аля вдруг становилась уступчивой и ласковой, Игорь пугался, ожидая подвоха с ее стороны. Что-то постоянно мучило ее. Он чувствовал это, но она не делилась с ним.

Возможно, подумал он, выходя из бара, что она страдает от того, что из нее не вышла художница. Учитель рисования — это все же не совсем то, к чему может стремиться одаренный человек.

Как-то она сказала, что у нее были неплохие картины, но куда они делись, Игорь так и не узнал. Было что-то неприятное в том, как она говорила о работах своего мужа: с пренебрежением опытного мастера, будто те ее картины были и вправду так хороши, что она имела на это право. Завистник она или талант?

Они были близки уже год, но он знал ее не лучше, чем в тот день, когда пришел работать в их школу.

Он вышел к Алиному дому и увидел во дворе ее сына. Он видел его только два раза, но сейчас сразу узнал. Мальчик был в красной курточке и полосатой, как у Буратино, шапочке.

«Максим,— вспомнил Игорь и подошел к мальчику.— Ему уже шестой год. Господи, неужели Але скоро тридцать?»

— Привет,— сказал он и присел рядом с мальчиком.— А я тебя знаю.

Максим поднял голову. У него были Алины невозмутимые темно-серые узорчатые глаза.

— Здравствуйте,— вежливо ответил он и поглядел куда-то поверх плеча Игоря.— Вы, наверное, к папе?

— Нет. Я к маме. Я ищу ее. Она дома?

Мальчик покачал головой и встал. Ру-

ки его были в песке, и он вытер их о куртку.

— Она в больницу пошла. Бабушку опять увезли вчера, и мама понесла передачу. Так называются яблоки, сигареты и колбаса, если их несут в больницу. Вы знаете?

— Да,— сказал Игорь.— Я знаю, что такое передача. Я тоже лежал в больнице.

— А я не лежал,— с сожалением сказал Максим.— Меня мама всегда дома лечит.

— Да, не везет тебе,— Игорь потрепал мальчика по плечу, но тот с удивлением покосился на его руку.— А в какой больнице лежит твоя бабушка?

— Да в психушке опять,— Максим махнул рукой и вздохнул.— Баба Катя, это вторая моя бабушка, они сестры, говорит, что бабе Люде кто-то в телевизоре мерещился. И дикторша ей подмигивала.

Вот оно что, подумал Игорь, наверное, это есть та тайна, что она тащит молча через все тридцать лет. Бедная, бедная ты моя!

— А вы — мамин ученик? — спросил Максим, ковыряя песок носком кроссовки.

— Ученик? Почему же ученик? Я — учитель. Веду русский язык и литературу.

— А разве бывают такие молодые учителя?

— Почему же молодые? Мне, брат, уже двадцать пять исполнилось. Представляешь, что такое двадцать пять лет?

— Представляю,— серьезно сказал мальчик.— А вы все-все слова знаете?

— Да нет,— признался Игорь.— Наверное, есть слова, которых я не знаю.

— А вот баба Катя говорит: белье подбыгло. И еще — волглое. Что это значит?

— Подсохло... Наверное, подсохло.

— Наверное,— согласился Максим...— А я уже умею читать. И печатать на машинке.

— Молодец. А давно мама в больницу пошла?

— Нет. Она оставила меня и сказала, что папа сейчас придет. А он не идет что-то.

Максим обернулся и, прищурившись, поглядел на свои окна.

— Папе все некогда вообще-то.

— Ничего,— сказал Игорь, улыбнувшись мальчику.— Придет твой папа.

— Он собирался на рыбалку ехать,— сообщил Максим и снова отер руки.— Только он все равно никогда меня с собой не берет. Говорит, что простужусь. Только я ведь знаю, что не простужусь.

— Ну и что? Ничего там интересного, в этой рыбалке. Охотиться за маленькими рыбками, которые не могут за себя постоять, а потом убиваешь их головой о камень. Разве тебе было бы не жалко?

— Жалко. Но ведь все мужчины ловят рыбу.

— Нет,— ответил Игорь, покачав головой.— Не все. Я никогда не ловил рыбу. И не буду.

— А у вас есть мальчик?

— Мальчик?

— Ну сын! У вас есть сын!

— Нет,— с сожалением сказал Игорь и увидел Алиного мужа, направлявшегося к ним.— Но у меня есть маленькая дочка. Ей всего два года. А вон идет твой папа.

— Да,— ответил мальчик, оглянувшись.— Сейчас он меня домой загонит.

Игорь снова поглядел на Алиного мужа. Он знал, что того зовут Вадимом, но никогда не произносил про себя его имени. Имя сближает с человеком. Игорь не хотел сближаться с ним даже на такое ничтожное расстояние. «Алин муж» — это было что-то зловещее и чужое, на которое он мог злиться или плевать. Вадим Новацкий — это был реальный, стареющий человек, с одутловатым, всегда плохо выбритым лицом и женскими розовыми губками. Отчего-то больше всего Игоря раздражали именно его гу-

бы, хотя, конечно уж, не в них было дело, а в женщине, которую они почему-то должны были мирно делить между собой. Было что-то унижительное и нечистое в том, что он имеет нечто общее с этим неприятным ему человеком, но Игорь старался не думать о том, что это нечисто, потому что Аля не могла быть нечистой, сколько бы любовников она ни имела. Она была заводной и веселой женщиной, но в те минуты, когда он готов был признать ее легкомысленной, в ней проглядывала какая-то недоступная, возвышающая ее сразу печаль. И он вновь отступал в растерянности, не пытаясь уже разгадать — что же это за чудо, Аля?

— Здравствуйте,— негромко сказал Новацкий и притянул Максима за плечи.— Вы не ко мне?

— Нет,— неожиданно громко ответил Игорь и рассердился на себя за волнение.— Я из школы. Мне нужно было повидать Аллу Константиновну.

— Завтра понедельник,— сказал Новацкий, и на лице его появилось недовольное, брезгливое выражение.— Вы и повидаете ее в школе. Сейчас ее нет дома. Простите, мальчику пора обедать. Всего доброго.

«Черт бы тебя побрал с твоей вежливостью», — недобро подумал Игорь.

Он быстро пересек двор, утыканный заржавелыми качелями и паровозиками, и вышел на улицу. Он никогда не был в психиатрической больнице, и к желанию увидеть Алю примешивалась значительная доза любопытства.

Он ехал до больницы на автобусе и все время поглядывал в окно, боясь пропустить Алю. Улицы были по-воскресному пусты, потому что в этом городе люди предпочитали проводить выходные дома.

— Башку-то убери,— прикрикнула на него пожилая женщина в вязаном сером берете.— Не видит, что я все время к компостеру тянусь.

— Не орите, — ответил он в тон женщине и протиснулся к выходу.

— Ох ты, — задыхнулась женщина. — Молодой наглец!

Он засмеялся, обернувшись, и, выйдя из автобуса, торопливо зашагал к красному зданию больницы.

Никем не останавливаемый, он поднялся на второй этаж и тут вспомнил, что не знает фамилии Алиной матери. Он наугад отворил дверь в приемный закуток и сразу увидел Алю. Она сидела на кожаном коричневом диване, спиной к нему, и что-то вполголоса говорила матери. Когда Игорь вошел, она обернулась и вскоčila.

— Иди! — крикнула она, и в ее глазах мелькнуло тоже что-то диковатое. — Иди, я выйду сейчас.

Больная, которая, конечно, была Алиной матерью, тоже поднялась, растопырив руки с уродливыми шрамами на венах. Она была похожа на пингвина и рыбу одновременно. Казалось, будто она спросонья — так неприятно разевался ее ссохшийся безмолвный рот. У женщины были широко расставленные серые глаза и пожелтевшее дряблѐе лицо. Она была так некрасива, что невозможно было признать Алю ее дочерью.

— Ну иди же, — нетерпеливо повторила Аля, и лицо ее злобно напруглось.

Он пожал плечами и спустился вниз. Конечно, подумал он, отворачиваясь от слабого ветра и прикуривая, это глупо и бестактно притащиться сюда со своими бедами. Здесь их и без меня хватает.

— Ну что?

Он обернулся на Алин голос и выбросил сигарету.

— Ну, так зачем ты пришел?

— Я уже понял... Извини ради бога, я действительно идиот.

— Ладно, — резко сказала она и быстро пошла к воротам. — Я не хотела тебе этого рассказывать... Ну да что уж теперь...

— Она давно больна? — он осторожно заглянул ей в лицо.

— О-о! Мне было лет девять. С того времени прошла уже тысяча лет.

— Я понимаю, ты уже привыкла...

— Ты ничего не понимаешь, — оборвала она. — К этому невозможно привыкнуть. Это мое проклятье, мой вечный стыд! Ты думаешь, я жалею ее? Страдаю? Да, я страдаю, но не от того, что не могу ей помочь, а от стыда и злости, что именно мне досталась сумасшедшая мать. А потом я начинаю стыдиться того, что стыжусь ее, в общем, целая куча стыда и ни капли любви. Ни капли! Когда всю жизнь заботишься о том, как бы скрыть от друзей ее сумасшествие, тут уж не до любви. Когда ей со всех сторон мерещится то тюрьма, то агенты, то еще невесть какая чертовщина — тоже не до любви. Я бы ее убила, если бы сама не боялась тюрьмы!

Она остановилась и с раздражением оглядела Игоря.

— Тебе, конечно, это кажется чудовищным. Еще бы, ты же учитель! Педагог!

— Ты тоже.

— Я?! — Она вдруг расхохоталась. — Я — учитель? О господи, ты меня насмешил!

— Чем же, интересно?

— Да в чем же я учитель? Если я показываю этим бездарям, как рисовать человеческое тело, то уж и учитель? Да я же их ненавижу! Всех вместе и каждого в отдельности! Они же все торчат передо мной живым напоминанием того, что я — неудачница. Что я не достигла ничего большего, чем проверять их бездарные рисунки. Это же очень смешно — называть меня учителем, как ты не понимаешь?

— Слушай, — он взял ее холодную, вялую руку, — если тебе угодно болтать ересь, то мне лучше уйти.

— Ересь? Ну почему же ересь? — Она вдруг замолчала и сжала его пальцы. — Прости меня, я, правда, несу чужь.

— Это я виноват. Притащился нехотючи, поставил тебя в неудобное положение.

— Ерунда, — серьезно сказала Аля, оглядываясь. — Я так и знала, что это ско-

ро случится с ней. Я всегда чувствую, как это приближается. И потом, мы ведь договаривались с тобой на сегодня.

Она осеклась и остановилась. Солнце мягко отсвечивало в ее зеленоватых волосах.

Она красивая, подумал он, чувствуя, как отчего-то сжимается сердце. Она так красива и так желанна, что я не могу долго быть с ней и не целовать ее. У меня захватывает дух, когда я смотрю на ее лицо.

— Слушай,— она покачала головой и прижала руки к его щекам. Она никогда раньше не делала этого на улице.— Какая я свинья! Ты хоронил брата, я все болтаю о себе.

— Ничего. Ты ведь и не знала его совсем. Он приезжал всего на два месяца перед армией.

— Все равно. Мне незачем его знать. Важно, что это твой брат. Он был похож на тебя?

— Нет,— подумав, ответил Игорь.— Он был совсем мальчик. Ехал от своей подружки, она отдыхала на даче. Странно, но мотоцикл почти цел. А он сразу насмерть.

— Как его звали?

— Димка. Его сбила машина с военными. Какие-то большие чины. Они говорят, что он был пьян. Что не справился с управлением и налетел на них. Они ничего не успели сделать.

— Да,— она взяла его под руку, и он почувствовал выше локтя ее мягкую грудь.— Конечно, это ужасно.

— Да,— подтвердил Игорь, холодея от предчувствия того, что скажет ей сейчас.— Особенно ужасно то, что он был абсолютно трезвым. Понимаешь? Он не вышел ни грамма! Его подружка была на похоронах. Все твердила: как же так, он ведь уехал от меня трезвым. Правда, они поссорились, но все магазины все равно были уже закрыты. У него даже бумажник дома остался.

— Подожди,— умоляюще проговорила Аля, сжимая его локоть,— выходит...

— Да, это самое и выходит.

— Но тогда...

— Да. Но это трудно теперь доказать. Невозможно. Я сам видел справку, в которой написано, что у него в крови обнаружился какой-то там процент алкоголя. Конечно, справка липовая, но кто теперь это может проверить?

Аля промолчала. Зачем я навязываю ей свои проблемы, подумал Игорь, сжимая ее тонкую, прохладную руку. У нее самой куча неприятностей. Свои я могу взвалить и на жену. Она с радостью примет эту ношу. Но вместо этого я иду к Але и рассказываю ей детективную историю о смерти мальчика, которого она и в глаза не видела. Волнует ли это ее? Она не знает никого, с кем я прожил четверть века. Что держит меня возле нее? Кто мы друг другу? И есть ли вообще «мы»? Есть наш обрыв, есть и поцелуй в учительской, когда одной рукой мне приходится на всякий случай держать дверь, но это все... Или что-то все-таки есть?

— Что же ты будешь делать?

Он не сразу понял, о чем она говорит. Он забывал о смерти брата, потому что думать о ней постоянно мог только нутужно. Она потрясла его, но не лишила вкуса к жизни.

— Сядем?— Игорь подвел ее к скамье.— Я ждал тебя сегодня на обрыве.

— Уже не лето. Обрыв больше не спасет нас. Так что же ты собираешься делать?

— Ты не замерзнешь со мной...

Она раздраженно толкнула его в бок:

— Я, кажется, спрашиваю.

— Разве я могу что-нибудь сделать?

— Всегда можно что-нибудь сделать.

— Аля,— вдруг вспомнил он,— Лена договорилась насчет обмена. Ты же знаешь, как она мечтает выбраться из этого города.

— Ты хочешь сбежать от смерти брата?

— Аля,— он чувствовал, что начинает сердиться.— Я говорю сейчас не о Дим-

ке, а о нас с тобой. Я уеду, понимаешь?

— Понимаю. Это должно было рано или поздно случиться. Она ведь давно искала обмен. Нехорошо только, что ты уезжаешь именно сейчас.

— Почему именно сейчас?

— Да из-за брата твоего! — рассердилась Аля и стукнула кулаком по скамье.

— При чем здесь Димка? Что толку, если я вступлю в какое-то идиотское единоборство? Ради чего? Чтобы получить другую справку?

— Они убили его. А ты рассуждаешь, чем это обернется для тебя.

— Слушай, — он вскочил и прошелся перед скамейкой. — Я никого не собираюсь сажать за решетку. Я не из плеяды неуловимых мстителей, можешь ты это понять? Тебе хочется видеть меня таким удалым ковбоем, а я всего лишь учитель...

— Ты — учитель? — спросила Аля тем же тоном, каким только что говорила о себе. — Ты хочешь научить, как сматываться из города, в котором убили твоего брата?

— Господи, — пробормотал Игорь, отворачиваясь. — Мне уже надоело... Оставь, ради бога, эту тему.

Она встала, тряхнув волосами. Сейчас они были не зеленоватыми, а цвета мокрой соломы. Солище больше не отражалось в них веселыми искрами. Она заметила его взгляд и провела по голове рукой.

— Что? Я растрепана?

— Нет. Все нормально.

— Почему же ты так смотришь?

— Я смотрю вовсе не на твои волосы.

— Да? Очень жаль. Ну что, ты проводишь меня до дому?

— Конечно.

Она снова взяла его под руку.

— Значит, ты убегаешь... Тебе не кажется, что ты всю жизнь от кого-то бежишь?

— А ты знаешь мою жизнь? — Он надеялся, что по дороге она заговорит о другом.

— А, вот как? Ну, по крайней мере, я знаю достаточно. Тебя не похвалили, и ты бросил писать. Ты убежал от самого себя, с головой ушел в школьную возню.

— Что ты называешь возней?

Она махнула рукой:

— Да все это... Все, чем мы занимаемся изо дня в день. Пытаемся подогнать учеников под идеал, а каков он — кому известно? Мы, как лебедь, рак и щука, тянем несчастного ребенка каждый в свою сторону, а он назло всем остается тем, что заложено в нем генетически.

— Значит, во мне был заложен учитель, и я им стал, — Игорь попробовал идти на мировую.

— Нет, я же читала твои рассказы. В тебе жив писатель, а ты убиваешь его своим нежеланием вступать в борьбу с кем бы то ни было. Даже с чужим мнением. Ты ведь хороший, умный, молодой, почему в тебе нет ни капли честолюбия?

Зачем, с раздражением подумал Игорь, поглядывая на ее четкий, светящийся профиль, зачем она завела этот разговор? Зачем вообще нужны серьезные разговоры, если можно жить легко, весело, любить и радоваться каждому дню? Она называет это — плыть по течению. А помоему — это и есть сама жизнь. Она не терпит усложнений и поправок. Человек должен радоваться крупным счастью, а не ковать из них нечто монолитное, что в результате оказывается памятником счастью.

— Стой, — она вдруг схватила его за руку и замерла. — Смотри, там конь. Живой конь! Красавец! Ты когда-нибудь видел живого коня? Куда тебе, столичный житель! А я когда-то выдерживала галоп. Не веришь? Ой, ну пойдем же скорее!

Она бросила Игоря и побежала через парк на лужайку, где действительно пасся вороний. Игорь шел следом, еще не веря, что Аля может действительно сесть на коня. А вообще, почему бы и нет? Почему бы и нет, повторил он. С

ее темпераментом надо скакать на лошадях, охотиться и прыгать с парашютом. Было бы странно, если б она не испробовала хоть одного из этих удовольствий.

Когда Игорь подошел, Аля разговаривала о чем-то с маленьким мужичком, то и дело показывая на коня рукой.

— Добро,— пробормотал наконец мужичок.— Троячок не пожалеешь?

— Вот еще,— Аля распахнула сумочку и вытащила деньги.— Держите.

Мужичок деловито спрятал тройку куда-то под телогрейку.

— Альянс,— крикнул он коню и почмокал губами.— Иди сюда, скотина.

— Альянс? Почему Альянс?

— А я почему знаю? — лениво ответил мужичок.— Сын так назвал. Сесть-то помочь?

— Ну, конечно, он же без седла.

Аля ухватила за гладкую спину лошади и оттолкнулась от подставленных замком рук мужичка.

— Алле!

В выходные она всегда надевает брюки, заметил Игорь. Может, ей часто встречаются лошади?

Аля выпрямила спину и свысока глянула на своего друга. Он-то никогда не рискнет сесть на первую попавшуюся лошадь. Он очень осторожный и благоразумный, оттого он и не стал писателем. Он всю жизнь будет учить других, как надо делать, как надо думать, как надо говорить. Но кто может это знать? Только не тот, кто двадцать пять лет просидел в теплом гнездышке.

— Пошел!

У нее слегка захватило дух, но она еще не забыла, как держаться на коне. Хороший! Пошел! У Игоря такое испуганное лицо... А мужичку тройка сердце греет. Господи, хорошо-то как! Немного больно с непривычки, но это ерунда. Главное, я — на коне! Я всю жизнь мечтала быть на коне. Это гораздо лучше, чем кажется Игорю. Когда он смотрит на лошадь, то воображает только отби-

тый зад, перебитые ребра и онемевшую спину. Он так и будет всю жизнь беречь свой зад.

Она чуть расслабилась, и конь замедлил шаг. Ладно, хватит, а то Игорь посидит от злости и страха. Она спрыгнула на землю, едва не сбив его.

— Сумасшедшая! Я не думал, что ты и правда полезешь. Пойдем.

— Спасибо! — крикнула Аля, обернувшись к хозяину лошади.

— Да чего уж,— великодушно ответил тот и махнул рукой.— Еще приходи.

— Хорошо,— сказал Игорь, когда они снова выбрались на аллею.— А если бы ты сломала себе шею?

— Зато сейчас мне есть, что вспомнить. Знаешь, когда я была в Артеке... Что ты смотришь? Да, я была в Артеке! Так вот, там была центрифуга, и нам предложили на ней прокатиться. На это решились только самые старшие мальчишки, но одна стоечка осталась пустой. И тогда полезла я. Мне никогда в жизни не было так страшно, но я пошла. И, знаешь, я горжусь этим. Честное слово.

— Ну, и как ощущение? — он сорвал на ходу лист тополя и ногтем отделил мякоть.

— Я думала, у меня голова оторвется. Нужно было крепко прижать подбородок к груди, а я не смогла, и голова у меня болталась. Говорят, я вышла вся белая. Я помню, как меня расплющивало.

— Очень здорово...

— Здорово...

— А сегодня этот конь,— Игорь кивнул в сторону поляны.— Этим ты тоже хотела что-то доказать?

Аля остановилась и как-то странно посмотрела на него. Волосы ее снова были зелеными.

— Ты знаешь,— серьезно сказала она, теребя замок его куртки.— Мне всегда хотелось уйти с цыганами. И чтобы пляски до одури, и любовь до кровопролития, и скачки до изнеможения.

— Ты просто фантазерка...

— Да, может быть. Но из всего этого мне выпали только лошади. В седьмом классе я дружила с конокрадами. Они угоняли из колхоза лошадей и приводили в бор. Потом мы всегда отпускали их на дорогу к колхозу. Мы не погубили ни одной.

— Твой конокрад не сел?

Она вздохнула и нахмурилась:

— Зря ты смеешься. Это было очень хорошее время.

— Ну я представляю... Аля, может, это некстати, но я все хотел спросить тебя...

— Давай.

— А что твой муж... — неуверенно начал Игорь.

— Что мой муж? — насторожилась Аля.

— Он что, такой геройский, замечательный человек и отвечает всем твоим требованиям? Ты все время чего-то хочешь от меня, все тянешь куда-то. А он? Он уже достиг вершин? Отчего ты живешь с ним столько лет, хотя не любишь? Сама ведь говорила, что не любишь!

— Отчего? — она как-то неприятно усмехнулась, будто собиралась солгать, но заговорила серьезно и будто искренне. — Он не жулик. Сейчас все кругом что-то тащут. Ловчат, крутятся. А он делает искусство. Он — художник. Хороший художник, и я должна помогать ему. Может, хоть в этом от меня будет польза искусству.

— Ясно, — он не удержался и съехидничал, — значит, ты посвятила себя служению таланту?

— Значит. Это лучше, чем служить сантехнику Пете.

— Ну, если Петя гений в своем деле...

— В сантехнике не может быть гения.

— Зря ты так... А если бы гением оказался я, что бы ты сделала?

— Смотри-ка, — вдруг весело и громко проговорила Аля, указывая подбородком вперед. — А вон твоя жена идет. Она что, охотится за тобой?

— Глулости. Ты все время говоришь глулости.

Лена остановилась. Он видел, как она судорожно поправила волосы, пытаясь сделать это незаметно, потом зачем-то сняла очки и снова надела их на маленький, вздернутый носик. Она казалась маленькой, растерянной девочкой.

— Привет, — крикнул он издали, чтобы успокоить ее. — Ты как сюда забрела?

— А мы с Катюшкой гуляем, — торопливо проговорила Лена, испуганно глядя на мужа. — Мы случайно здесь оказались.

— Здравствуйте, — громко сказала Аля и тоже посмотрела на Игоря.

Ну и что, подумал Игорь, отворачиваясь от них и отыскивая взглядом дочь, мало ли... Что уж...

Он чувствовал, что женщины разглядывают друг друга, и решил не вмешиваться. Пусть их! В этой прогулке не было ничего предосудительного.

Женщины смотрели друг на друга. Испуганно и насмешливо. Чисто и порочно.

(— Неужели это ты?)

— Разве ты сомневаешься в этом?

— Неужели ты все-таки есть?

— Я не просто есть. Теперь я буду всегда. Какую-то частицу его тебе уже не вернуть.

— Зачем тебе это, зачем?

— Дай мне самой как следует в этом разобраться.

— Ты любишь его?

— Дурочка, разве все можно обозначить словом «любовь»?)

— Папа! — Катька наконец заметила Игоря.

Он бросился к ней, проваливаясь в мягкий настил листвы. Где-то пахло дымом и жареным мясом.

— Папочка! — Катька обхватила его за ноги и запрокинула голову. — А я цветочки нашла.

— Молодец, — Игорь взял ее на руки и вернулся к женщинам. Они молча смотрели на него.

— Ну ладно, — опомнилась Аля и странно улыбнулась Лене. — Я пойду. До свидания.

— Может, мы проводим? — неуверенно предложил Игорь, глядя на жену. — Все равно гулять.

— Нет уж, гуляйте здесь, — оборвала его Аля. — Прощайте, Лена. Я слышала, вы скоро уезжаете?

— Да, — удивленно ответила Лена, снова поправляя очки. — Теперь уже совсем скоро.

— Правильно. Из этого города нужно бежать, если не можешь ничего для него сделать. Желаю вам успешного бегства!

Она не взглянула на него больше. Он знал, что увидит ее завтра в школе, но ему казалось, будто Аля уходит навсегда. Он что-то говорил дочери и улыбался Лене, но чувствовал каждый Алин шаг. Она отмеряла сейчас путь, который он не сделал.

Вернувшись домой, он, не раздеваясь, прошел на кухню и напился через носик кувшинчика холодной кипяченой воды. Сырую воду запрещено пить в этом городе. Он присел у стола и подумал, что начал понимать, как болит душа.

...От моря веет тревогой. За окном фосфорически светится акация, и ее волнующий запах наполняет комнату.

— Тише! — мать вскакивает и, вытянув руки, замирает у Алиной кровати. — Слышишь, они снова стучат! Они следят за мной, хотят упрятать за решетку. Они всех прячут за решетку.

Она мечется по комнате, как большая, белая моль, и огромные, дикие глаза ее светятся на смазанном сумерками лице.

Але становится страшно. Она забирается под одеяло и быстро-быстро подбирает его со всех сторон.

— Они следят за мной второй год. Сначала хотели сделать меня шпионкой. Заставляли следить за девочками из ФРГ, с которыми я жила в комнате. А потом стали следить за мной. Они все ходят в серых плащах, запомни! Слышишь, доченька?

Аля слышит. Она не понимает полновинны из слов матери, но от этого ей еще страшнее. Аля еще не привыкла к матери. За два года учебы в аспирантуре Аля успела ее немного забыть. Отца она не помнила совсем, он жил в Норильске и иногда слал оттуда посылки. В них были смешные игрушечные моржата и красивые унты. Аля благодарила его в письмах и сообщала, что учится на пятерки; бабушка купила ей велосипед и новый портфель, так что присылать ничего не надо. Но посылки из Норильска все равно приходили. Иногда отец вкладывал в них свои фотографии. Наверное, он боялся, что Аля забыла его.

— Они стучат! — вскрикивает мать и начинает барабанить кулаком в стену. — Помогите! На помощь!

От ее крика Аля начинает плакать. У нее никого нет знакомых в этом маленьком курортном городе золотых песков, переполненных калеками и идиотами. Они сползаются сюда, как верующие в Мекку. Но солнце благосклонно лишь к здоровым.

Сбегаются все постояльцы, испуганно толпятся в дверях и перешептываются. Аля следит за ними, выглядывая из-под одеяла. Мать вскакивает на свою кровать и бросает в них подушку. Женщины вскрикивают, а мужчины бросаются к матери и стаскивают ее на пол. Они волокут ее к выходу, в зловещий проем двери, и Аля в испуге прыгает с кровати.

— Мама! — кричит она. — Куда вы ее тащите?

Она видит, как мать плюет в собравшихся, и ужасается этому. Разве можно плевать в людей? Кто-то хватается за руку и затаскивает обратно в комнату. Пятна света мечутся по стенкам — это подъехала машина. Кто ездит по ночам в их переулочек?

Кто-то укладывает ее в постель и садится рядом. Аля не видит его лица. Она плачет. Ей обидно, что с ней так легко справились.

— Спокойно, девочка, — чья-то тяжелая рука похлопывает ее по одеялу. — А ты сдвинешься, как твоя мать. Ты ведь не хочешь этого, правда?

— Что с мамой? — захлебываясь, спрашивает Аля.

Та же рука вытирает ей слезы.

— Крепись, малая. Твоя мать, кажется, сошла с ума.

Этот сон явился, уж конечно, не от того, что мать снова попала в больницу, решила Аля, не открывая глаз. Просто кто-то посторонний вмешался в мою тайну. Он — посторонний? Ну, уж в любом случае не родной. А кто — родной? Вадим? Максик? Кто нужен мне настолько, что я задохнулась бы от любви, если б он вдруг исчез?

Какая чушь, подумала она и рывком сбросила с постели свое тело. Как-то побабьи — начинать день с раздумий о любви! К чему? Я никогда не была сентиментальна. Я могу задушить от любви, но уж никак не задушиться сама. Я могу преклонить колени, чтобы позже одержать верх. Но сейчас я, похоже, попалась. Этот учителяшка здорово зацепил меня. Особенно его преданность жене. Как, должно быть, цинично я рассуждаю. Но не могу же я назвать то, что у нас с ним, — любовью. Это святое слово — любовь. Любовник — верх пошлости. Он мой любовник, отчего же я должна говорить о нем уважительно? Туалет — самое лучшее место для воспоминаний о нем.

Эта девочка, его жена, она все поняла, но не хочет верить. А, черт! Отключили горячую воду. Вечно у нас чего-нибудь нет. Чтoб они там сдохли от своей самогонки. Перепьются, а тут душ из-за них не примешь.

Ничего, скоро она увезет его из этого города, и он очухается. У него просто наваждение, ему кажется, что он умирает от любви. Впрочем, разве ему это кажется? Хо-хо! Ты, милая, горазда во-

ображать! Разве он хоть раз за этот год обмолвился о любви?

А разве я хотела этого? Она прижала полотенце к лицу и присела на край ванны. Я боялась этого, но хотела ли? Все! Не надо больше. Так я могу зайти слишком далеко, а у меня что-то разболелась голова. И потом, копаться во всех этих душевных нюансах — это уж, простите. Уж я-то сумею расправиться с ними, не хуже, чем когда-то со своими картинами.

(...Он смеялся. Она не оглядывалась, но знала, что он смеется. Она пинком закинула в огонь последний холст. Этот маленький скрипач... Он казался ей самой удачной работой. Но этот человек — ее учитель, ее муж, отец ее будущего ребенка, о котором он теперь черта с два узнает! — сказал, что все ее картины — мазня. Бездарная, сентиментальная бабья мазня. Она привезла их к нему на дачу и начала жечь прямо у него на глазах. Костер красок! Спешите видеть! Я сжигаю свою душу у вас на глазах! Он смеется... Как он красив, когда смеется!)

— Вот это уж совсем ни к чему, — сквозь зубы проговорила Аля, рывком застегивая замок сумки. — Черт с ними со всеми! Надоело... В конце концов, может, он был и прав, этот дьявол, гений, бабник! Теперь о нем никто и не помнит... Что с ним стало? Вадим никогда не заговаривает о нем. Он даже не знает, что воспитывает его сына.

Ладно, каждый сам выбирает свой жребий. Еще неизвестно, кто кому обязан. Кем был Новацкий до нее? Мазюкал красивых доярок и знаменитых шахтеров. Правда, у него все было в порядке с цветом. Еще ни у кого она не находила таких изысканных, мягких полутонов. Тогда на выставке, когда она впервые увидела его работы, Новацкий оказался рядом. Но она, конечно, не знала его в лицо и вслух сказала, что такими красками хорошо писать детей. Он сразу уцепился за ее слова. Вы сказали:

детей? Почему детей?... Потому что мне так кажется, и все. Только поэтому. Я не сумела найти таких сочетаний. ... А, вы — художница? ... Я? С чего вы взяли? ... Как с чего? Вы же только сказали... Я сказала? Я ничего не говорила. Я преподаю рисование в школе. Прекрасная работа, правда? ... Наверное ...

Она всегда выходила из дома за пятнадцать минут. Десять на дорогу, пять — на болтовню в учительской. Дольше она не выдерживала. Но сегодня Аля оставила себе одиннадцать минут — только на то, чтобы успеть зайти в класс до звонка. Сегодня ей не хотелось никого видеть. Тем более его. Господи, сколько этих «Он» в ее жизни! Один Он смеялся над ее самосожжением, другой Он ... этот раскусил ее сразу и не отстал после выставки. Когда он прочно влез к ней в душу, она подкинула ему пару сюжетиков, которые он блестяще, что и говорить — блестяще! воплотил. О нем заговорили. В его картинах появился смысл. Красивые доярки были отвергнуты. Он написал «Детский страх», который она когда-то хотела сделать сама, но уступила ему. Ей больше не хотелось восходить на костер.

Аля хорошо помнит эту картину, хотя взглянула на нее только один раз, желая убедиться, что Вадим сделал это не хуже, чем ей представлялось. Он сделал это здорово, она даже обрадовалась: настолько живым был мальчик в белой ночной рубашке со свечкой в руке. От полусвета свечи разлетались чудовищные тени в духе сюрреализма. Они кипели вокруг, но не смели приблизиться к свету. Но, несмотря на свое зачаровывающее уродство, они были только тенями, а мальчик жил, отчаянно трусил, но шел вперед со своей трогательной свечкой в руке. Это была ее любимая картина Вадима. Если бы он не был таким талантливым выразителем ее фантазий, верно, она не привязалась бы к нему так сильно. Он всегда был удачлив, Вадим Новацкий, но ему не хватало воображения.

Без нее он наверняка не дорос бы до того, чем стал сейчас.

...Впрочем осталось пять минут, а она не прошла еще и половины пути. Когда торопишься, не следует размышлять о слишком серьезных вещах. А для нее это серьезно. Очень серьезно.

Кто же третий Он? Макс, улыбнувшись, подумала Аля. Этот мальчишка — тоже Он. И не третий, а первый. Пожизненный владыка. Слава богу, он и в руки не берет карандаши. В садике удивляются его бездарности, но Аля рада ей. Талант — это вечная каторга, вечное недовольство собой, разочарование, нервы, нервы и короткое счастье вдохновения. Аля почти забыла, что это такое, и вот месяц назад ее вдруг захватило. Она не сразу сообразила, что с ней. Ее лихорадило, щемило сердце, как от предчувствия любви, ей все казалось, что она ищет и не может найти, но что? Потом она как-то спокойно осознала: вот оно! Снова пришло. Просто до бессилия: светлая девочка у черной стены. И все. И больше ничего не нужно, потому что в этом все. А руки уже дрожат... Она побежала в мастерскую Вадима и, расшвыряв его этюды, начала писать. Только свет и тьма. Зачем нужны краски, если можно все сказать и без них?

Через пару недель пришло умиротворение. Вадим за это время ни разу не поднялся в мастерскую. У него была хандра, верно, его бросила одна из его женщин. Але была безразлична его оценка. Она начала петь — вот что было важно. Остальное — чужь. И все. Они тоже — блажь, прихоть, забава. У нее есть девочка у черной стены, а это поважнее, чем все Они, вместе взятые.

Четвертый Он — Игорь. Неудавшийся писатель... Впрочем, как знать, ему еще двадцать пять. Но если он будет так же серьезно относиться к своему учительствованию, как сейчас, — школа затянет его. Сама Аля никогда не отдавала школе, этому ненасытному чудовищу, свою душу, потому у нее родилась девочка у

черной стены. А Игорь слишком серьезен. Он не терпит формальности. Если ему не нравится какой-то писатель, он почему-то считает своим долгом сказать об этом ученикам.

— Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем чертить гайку в разрезе. Вы довольны?

Они удивлены. Зачем она спрашивает? Разумеется, они недовольны. Но ей-то что за дело? Они слишком взрослые дети, чтобы сказать учителю в глаза: «Нет, мы не хотим чертить гайку в разрезе. Мы с большим удовольствием пошлялись бы по улицам». Но они знают, что так говорить нельзя, несмотря на все разговоры о плюрализме мнений. В школе это нововведение не действует. В школе они будут чертить гайки, пока это нужно Алле Константиновне. Она — реальный вершитель их желаний, хотя они и подозревают, что ей тоже глубоко наплевать на все эти гайки в разрезе.

Они о многом догадываются, эти дети. Например, о том, почему учитель литературы Игорь Владимирович частенько заглядывает к ним на черчение. Они видят, что Алла Константиновна красива, а Игорь Владимирович сложен как хороший спортсмен. Все девочки школы охотились за ним летом на пляже, но им не повезло. Наверняка Игорь Владимирович заглянет к ним и сегодня, и чертежница выйдет к нему, и они будут о чем-то шептаться под дверью.

Но Игорь не пошел сегодня в кабинет черчения. Он понял, что Алла не зашла в учительскую специально, не желая видеть его. Она злится. Все еще не может отказаться от романтических представлений о мужчинах. Смешно, ей-богу! Одна женщина посылает его на подвиг, другая старается уберечь от всяческих потрясений.

— Что теперь поделаешь? — сказала Лена вчера, когда они укладывались спать. — Димку все равно не вернешь. А мы не на Корсике. В конце концов, они сбили его случайно. Думаешь, им самим

легко пережить, хоть и непреднамеренное, но убийство. Я знала одного парня. Он посидел в двадцать семь лет, когда девочку шестилетнюю автобусом задавил. Она сама выскочила ему под колеса, его даже не судили, но от этого ему было не легче. Он целый год спать не мог. Он говорил, что ложился, закрывал глаза и снова видел ту картину. Потом он даже в психушке лечился.

— Да ладно, — Игорь прижал к себе ее маленькое, худое тело. — Что ты уговариваешь меня? Я и не собираюсь копаться в этом дерьме. Кто теперь докажет правду?

«Так мне удобнее», — он замотал головой, отгоняя эту гаденькую мысль и уткнулся в маленькую теплую грудь жены. Она радостно обхватила его за шею и обвила ноги своими тонкими ногами.

Так мне удобнее, снова подумал он, все сильнее сжимая ее тело. Вообще мне с ней удобнее. Она ничего от меня не требует, кроме того, чтобы я не ушел из дома. Я не уйду. Здесь мое убежище от жизни. Тихая гавань со стоячей водой. Затхлой, но постоянной. Алла тянет меня на ветер. Я не привык стоять на ветру. Я до сих пор не привык к ней самой: к ее миру, к ее телу. Я теряюсь, когда должен проявить мужскую силу. Она наверняка в душе считает меня импотентом. Но ведь с Леной у меня все нормально, хотя меня никогда не влечет к ней так сильно. Отчего это? Мне стыдно, но я боюсь ее. Кажется, что она готова засмеяться надо мной в момент, когда я хочу распахнуть ей душу. К чему ей моя душа? К чему вообще я ей нужен? Она почти ничего не говорит мне о себе. Я даже не знал, что у нее больная мать. Она затыкает мной черные дыры своей души. Я уеду. Уеду.

— Лена, мы скоро уедем отсюда?

Она отстранилась и удивленно поглядела ему в лицо.

— Если хочешь, хоть через неделю. С документами у меня почти все ула-

жено. А с работы ведь тебя обещали сразу отпустить.

— Да,— выдохнул он, ища губами ее шею.— Давай поскорее. Мне осточертел этот город. Там мы с тобой родим еще одного ребенка.

— И тогда ты уж будешь повязан,— попробовала она пошутить.

Он нехотя открыл глаза.

— Я и так... Вас и без того у меня двое. Давай спать.

Ему снился ветер и чей-то крик.

Когда кончается золотая осень, особенно если это происходит внезапно, за одну ночь, вместе с дождем, серостью, слякотью неизбежно приходит опустошение, которого не избежать и при самой счастливой жизни. И тогда малейшая неприятность воспринимается как трагедия, и, внав в уныние, начинаешь ждать зиму, как просветление и очищение.

То, что Игорь не заходил и не звонил уже несколько дней, не было, конечно, для нее трагедией. Но отчего-то ей постоянно было трудно дышать. Что-то сдавливало сердце до того, что холодели в мурашках руки. И сейчас, в очередной раз, сидя с матерью на кожаном диване и рассказывая ей о Максиме, Аля то и дело замирала от накатывающей тоски.

— Он начал хорошо читать,— торопливо говорила она, заглушая постыдную тревогу.— Вадим сейчас много с ним занимается. Они очень хорошо ладят между собой.

Мать слушала, то и дело по-рыбьи разлепляя ссохшийся рот, и Аля не могла понять, доходят ли ее слова до замутненного сознания.

— Ты хоть помнишь Максима? — с неприятно разглядывая давно переставшее быть родным лицо, спросила Аля.

Мать встрепенулась, разлепила губы и вятно ответила:

— Максима? Конечно. Как же забыть этого маленького шпиона?

— Ясно,— сказала Аля, поднимаясь.— Ладно, иди в палату... Возьми вот...

Она сунула в дрожащие руки пакет с передачей и, увернувшись от поцелуя, вышла на улицу. Такие широкие проемы, машинально подумала она, зачем? Или они специально провоцируют больных на самоубийство? Да нет, этого не может быть. Хотя почему...

Как люди сходят с ума? Ей стало страшновато от этой мысли, но она уже ухватила за нее, чтобы забыть о своей тревоге. Наверное, это всегда происходит трагически. Или, наоборот, буднично. Как аппендицит. Отросток есть у каждого, но у одного из десяти он внезапно воспаляется. Отчего? Никто этого не может с уверенностью сказать. И никто не объяснит: я сошел с ума от того-то и того-то. Сходят с ума, когда разум отказывается что-либо понимать. А в жизни много такого, что понять невозможно. Например, как он может так долго не приходить? Ну, что ты! Из-за такого, как Игорь, с ума не сходят. А при чем тут он? Это зависит от моей головы, а не от его.

— Мне никто не звонил? — спросила она Максимку, снимая плащ. Обычно он первым хватал трубку.

— Нет,— отозвался он из своей комнаты.— Мама, ты купишь мне мозаику?

— Мозаику? — встревоженно спросила Аля, проходя к сыну.— У тебя появилась тяга к цветам?

— Нет. Просто воспитательница сказала, что если я такой бестолковый, раз до сих пор не могу научиться рисовать, то пусть мне хоть мозаику купят. Все будут рисовать, а я складывать.

— Ладно,— она погладила сына по жестким кудрям.— Я куплю тебе мозаику и все, что ты захочешь. Ну, разумеемся, в разумных пределах.

Максимка кивнул и снова занялся танком. Аля заметила новую ссадину у него на коленке, но спрашивать ничего не стала, все равно ведь не вспомнит, где ее заработал.

— Значит, мне никто не звонил...

Она прошла в кухню и поставила на конфорку кастрюлю с борщом. Он был не настоящим — без свеклы, Аля боялась кормить сына нитратами.

Вот и все, уныло заключила она, глядя в окно, кончилось мое бабье лето. Гадость, какая гадость! Наигрались — и хватит? Разлетелись по своим гнездышкам. Конечно, там тепло, привычно и никто не тянет тебя к звездам. С ней он никогда ничего не напишет. Никогда. Он сам говорил, что она печется только о его отдыхе, но не о работе. А что? Скоро ему начнет это нравиться. И черт с ними, со звездами, скажет он. Я имею реальные блага, а не мифическое духовное удовлетворение... Да как же, как же так можно?

— Руки вверх!

Она вскрикнула и задрожала от бешенства.

— Максим! — она оглохла от собственного крика. — Уйди отсюда, паршивец!

Аля схватила сына за плечо и изо всей силы стала лупить его по всему извивающемуся тельцу. Его крик только разъярил ее.

— Пошел вон! — она с силой толкнула его на пол. — Убирайся!

Он испуганно тихо заплакал, отползая в комнату. Аля глубоко вздохнула и до боли закусила руку.

Что это? Ей стало стыдно и страшно. С чего эта вспышка бешенства? В чем ребенок-то виноват?

— Максимка, — робко позвала она, входя в коридор. — Прости меня, пожалуйста, старую дуру.

Он всхлипнул где-то в глубине комнаты. Она нашла его на полу за портьерой, маленького, съежившегося, не понимающего своей вины. Она прижала его к себе, всего теплого, дрожащего, и в который раз задохнулась от нежности к нему.

Вадиму Новацкому ни разу за все сорок лет его жизни не снились цветные сны. Он объяснял это чистой совестью и трезвым рассудком. Он никому не сделал в жизни зла, разумеется, его маленькие развлечения с женщинами в расчет не шли. Ему нравились женщины, и они отчего-то охотно шли на сближение с ним. Но разве это хоть в коей мере касалось Али? Да и ей ли обижаться? Он подобрал ее, беременную неизвестно от кого, и никогда ни словом не упрекнул. Он всегда был ей хорошим мужем, и они прекрасно уживались.

Отчего же мне не спится сейчас, спросил он себя и поднялся с постели. Аля спит, и во сне ее тело так изящно изогнуто. Она всегда очень красиво спит, просто картинная поза. Но самое поразительное, что получается это случайно. Случайно ли? Или тяга к искусству, тщательно ею скрываемая, выплескивается в изломах ее сна?

Вадим вышел на кухню и закурил. Нечего гадать, сказал он одними губами. Все дело в том, что она скрыла от меня свою новую работу. Что она означает? Светлая девочка у черной стены... Отчего она не подсказала эту мысль мне, а сама взялась за дело? Впервые за столько лет. Довольно странная манера письма у нее. Но что мне-то за дело?

А-а, да что тут ломаться перед собой? Всегда, когда мне начинало казаться, что я достигаю вершины, появлялся новичок, который резво меня обгонял. На этот раз им стала моя собственная жена. Неприятно... Да что там неприятно? Меня просто душит злость! Какая подлость — перед самой персональной выставкой нанести мне удар в спину! Правда, она ничего не знает о выставке, к сорокалетию у нас не принято этого делать. Но я удачлив. Я чем-то правлюсь тем, кто это решает. Вернее, не я, а мои работы. Рожденные с ее подсказки. Все, что я делал до нее, теперь называют моим периодом ученичества, поисков себя. Я мог бы до сих пор искать... Я должен быть

ей благодарен, но благодарности не испытываю. Какого черта она теперь вдрут полезла сама? Надеется сказать еще свое слово в искусстве? Как бы не так, милая! Если ты отречешься от меня, я уж постараюсь, чтобы ты понабила себе шишек о двери бюрократии от искусства. Ты не сталкивалась с ними, дуручка. Тебя стоит наказывать... Как за что? Ты же украла идею, которую должна была подарить мне. Без нее я слеп. Я не вижу, что должен рисовать. Я знаю как, но не вижу, что. А ты украла у меня зрение. Ты — украла.

Он вернулся в комнату, наполненную мягким, теплым светом фонаря и прозрачными тенями. Что он может написать без нее? Эту комнату? Красиво, но тот самый философский смысл, за который так хвалят его работы, пропадает. Этого нельзя допустить! Он сам мог написать эту девочку, она по праву принадлежит ему. Аля не посмеет показать эту картину. Она должна это понять.

Было угрожающе тихо, и снег слепил своей бескрайностью. Она приоткрыла дверь сторожки и выглянула наружу. Больные глаза слезились, потому что изо дня в день она видела один и тот же чистый снег. Она потеряла глаза кулаком и разглядела вдали черную точку. Это была очень маленькая точка, но через четверть часа она должна была превратиться в большой вертолет. Он везет нового конвоира, который будет ненавидеть ее не меньше, чем теперешний, за то, что по ее милости замкнут на неделю в черно-белом мире. Он не видит многообразия этих двух цветов. Он знает, что там, откуда его привезли, бывают свежий цвет травы и прозрачность ручья, красные флаги и желтая куриная слепота. Он будет тосковать по этим цветам и ненавидеть женщину, которую вынужден охранять.

Она захлопнула шаткую дверцу и вылезла через окошко на другую сторону.

За что они держат ее здесь? За что? Она убежит от них. Убежит.

Ах, как вязнут в снегу ослабевшие ноги! Она совсем разучилась бегать. Что-то черное надвигается сзади, перекрывая дорогу, но она не слышит его стрекотанья. Он летит молча, этот вертолет. Безмолвный вертолет-убийца.

— Я убегу от него! Убегу!

У нее треснули пересохшие губы, когда, выдернув свое тело из снега, она из последних сил рванулась вперед и очнулась...

...Голубоватый отсвет портьер наполнил комнату. Она никогда не умела передавать такой прозрачный полутон, поэтому первый Он назвал ее картины мазней. Ему казалось, что ее цвета вульгарны. Ей давно надо было понять, что существуют только два цвета — черный и белый. Они могут сказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Аля повернулась к Вадиму и вздрогнула, встретив его немигающий взгляд.

— Ты не спишь?

— Я видел твою девочку... — он шумно вздохнул и сел на постели, растирая ладонями полное лицо. — Это потрясающе... Ты убила меня своим лаконизмом. Там ни убрать, ни добавить.

Он что-то не договаривает, поняла Аля и внутренне напряглась. Сейчас он выдаст нечто такое...

— Значит, тебе понравилось?

— Понравилось?

Он сбросил одеяло, и Аля невольно сморщилась при виде его полного, старобразного тела.

— Я третий месяц ищу тему! Мучаюсь, не нахожу себе места. И в это время ты возвращаешься к работе! Не раньше, не позже. Ты решила окончательно выбить меня из колеи?

Он бесится, что я не подарила ему эту тему. Это ясно. Он бесится, что я начну писать сама и потоплю его. Я дождусь, когда он признается в этом сам.

— Это неблагородно с твоей стороны. Ты не должна была...

— Ах, я не должна! Почему же? Уж не потому ли, что за женщиной ты оставляешь только дом, детей и церковь, а?

— Ну, я, по-моему, никогда не забывал тебя, но...

— Ну, милый, давай! Скажи, что ты питаешься моими соками, что тебе хочется еще пожить.

— Тебе что, захотелось славы? — он замер, наклонясь к ее постели.

— Славы? Ты думаешь, что я способен выставить одну работу?

— Что же ты собираешься с ней делать?

Аля откинулась на подушку и засмеялась:

— Ничего. Я захотела и написала ее. Он резко выпрямился, и лицо его с женскими губами затряслось:

— Захотелось? Отчего же тебе не хотелось раньше? Ты решила меня позлить? Что-то доказать? Ты... ты... Ты просто неблагодарная тварь! Я кормлю твоего сына, а ты...

— А я не собираюсь больше кормить тебя своими идеями, — Аля поднялась и, сбросив ночную сорочку, застыла перед Вадимом. — Не бойся, я не отобью твой хлеб. Эта девочка, может быть, останется единственной моей работой. Но ее я не могу тебе отдать. Это только мое, понимаешь?

Он сразу как-то обмяк.

— Значит, ты не собираешься никому ее показывать?

— А почему тебя это волнует? А, ну да! Кое у кого могут зародиться сомнения насчет прежних твоих картин. Не бойся, пока мы вместе, я тебя не выдам.

— Пока мы вместе? — кажется, он испугался. — Что это значит?

Он ласково притянул Алю к себе и погладил ее прямые белые плечи. Она помотала головой.

— Ничего. Просто никто не может сказать с уверенностью о завтрашнем дне.

— Да, — с сожалением подтвердил Ва-

дим. — Но имей в виду: я никуда тебя не отпущу. Ты моя Муза.

— В прямом смысле, — усмехнулась Аля и начала одеваться. — Извини, у меня второй урок.

— Я никогда не был у тебя на уроках...

— И не дай бог!

Она торопливо застегнула платье и пошла в комнату сына. Здесь был розовый, радостный свет. Аля любила бывать в этой комнате по утрам. Но сейчас у нее вдруг разболелась голова от этого света.

Она подобрала с полу одеяло и осторожно погладила Максима по руке.

— Вставай пришел... Пора открывать глазки.

Он сразу распахнул глаза, этот удивительный ребенок, и сел, спустив на пол поленья ножки.

— А солнышко встало? — спросил он, потягиваясь.

— Встало, — Аля присела и начала переодевать сына, любуясь его загорелым гладеньким тельцем.

«Номер один, — подумала она, вспомнив свою недавнюю раскладку. — Всегда номер один».

— Я никогда не боялась этой женщины, — сказала Лена Венгровская, глядя на себя в зеркало. Привычка разговаривать с собой осталась у нее с той поры, когда мечтала стать актрисой и даже репетировала перед зеркалом. Но актрисой она так и не стала, да и бог с ним, с театром! Все это одни журавли в небе и нищенская зарплата. Она узнавала о ставках артистов — жалкие гроши. Конечно, если не заслуженный и не в ведущем театре. А на это Лена никогда не надеялась.

Она набрала немного воды в ведро и начала подметать комнату. Скоро они уедут отсюда, какое счастье! Нет, вовсе не из-за этой женщины. Хотя... Лена вспомнила, как испугалась там, в парке,

впервые увидев эту Аллу Константиновну. Ей нипочем не дашь тридцать лет, и фигура у нее замечательная. И вообще, честно говоря, очень интересная женщина. Но Игорь все-таки никогда не уйдет к ней, поэтому Лена готова была даже пожалеть ее. Впрочем, у нее, кажется, есть и свой муж, так что жалеть вроде бы и не за что.

— Катька! — вдруг крикнула Лена, распрямилась. — Ты чем там занимаешься?

— Играю, — чересчур быстро ответила Катька.

«Опять», — огорчилась Лена и, осторожно положив веник, на цыпочках пошла во вторую комнату. Так и есть: Катька стояла, спустив колготки и трусики, и разглядывала интересные ее места.

— Катя!

Девочка вздрогнула и неумело натянула колготки. На ее лице выразились страх, недоумение и какое-то глубокое понимание своей правоты.

— Ты нехорошая девочка, Катя, — убежденно сказала Лена, пытаясь поколебать уверенность своей двухлетней дочери. — Так нельзя делать. Играй лучше с куклами.

Девочка промолчала, но Лена чувствовала, что несколько не убедила ее. Откуда в ней этот странный интерес? Наверняка от распутного папочки. Как же он называет свою любовницу? Уж наверняка не Алла Константиновна. Аллочка? Аленька? Тыфу ты, паразитка, привязалась! Лена давно подозревала, что Игорь к кому-то неровно дышит, но надеялась, что никогда не узнает этого наверняка. А с чего она взяла, что эта учительница обязательно его зазнабушка? Может, и вправду случайно встретились. Тем более, она старше Игоря на целых пять лет! Опять Катька печенье раскрошила... Сколько раз говорила: не покусовничай! А Игорь потекает ей.

Но больше всего в тот день напугал ее сам Игорь. Вечером он вдруг взялся писать. Тоже мне писака нашелся! Ей

удалось убедить его, что незачем насиловать себя и отрывать от семьи время, что истинное призвание — школа, дети и собственные тоже. Он согласился, убрал тетрадь, а потом долго курил на балконе. Ничего, перебесится. Ни к чему Игорю эта беспорядочная писательская жизнь. Он и так здорово устает. За последние дни он даже постарел как-то... Трудные сейчас дети.

Она снова бросила веник и присела на диван. Надо поторопиться с документами, а то у нее недоброе предчувствие. Сегодня во сне она видела мясо, а это всегда не к добру. Игорь смеялся над ней, говорил: это оттого, что она мечтает о мясе наяву. Но это совсем, совсем не так.

Этот переезд вытянет все жилы. А от Игоря никакой помощи, ходит, как в воду опущенный, зато каждый вечер дома, выходные — дома. Что еще нужно? Хороший муж тот, кто всегда под боком. И никуда не рвется: ни к любовнице, ни к писательству. И надо уж позаботиться, чтобы он поскорее забыл и о том, и о другом.

На последнем уроке Игорь внезапно почувствовал то радостное лихорадочное волнение, которое испытывал в ту пору, когда писал свои рассказы. Он торопливо дорассказал о творческом пути Горького, которого, честно говоря, не любил, о чем и сказал ученикам, и отпустил их на десять минут раньше звонка. Ребята были озадачены, он понял это, обычно Игорю Владимировичу урока не хватало. Но сейчас ему было не до них. Он быстро собрал дипломат и почти побежал домой. У кабинета черчения Игорь зашел, но тут же снова ускорил шаг.

Нет, сказал он себе, я приду к ней, когда напишу что-нибудь стоящее. Я докажу, что могу еще летать. Я напишу о ней, о женщине, которая может сесть на коня и надеется, что служит искус-

ству в лице своего мужа. Я обязательно это напишу. Потом принесу рассказ ей, и посмотрим, кто из нас чего стоит — я и ее муж.

Дома Игорь сбросил куртку и сразу прошел в спальню, которая была одновременно и его кабинетом. Квартира у них, конечно, тесновата, даже странно, что кооператорам удалось найти для них обмен. Но сейчас не надо об этом, не надо!

Он достал пачку писчей бумаги и подумал с облегчением: ну вот, я снова берусь за дело. После того, последнего, разговора с Алей он тоже пытался что-то написать, но тогда не было этой вдохновляющей радости, и потому он не противился, когда Лена уговорила его бросить это занятие. Но сейчас все совсем по-другому. Он коротко засмеялся и начал писать. Слова приходили легко и сами складывались в короткие, емкие фразы. Рассказ захватил его, он почти не отрывал ручки от листа, и все выходило складно, легко, изящно.

— Что ты делаешь?

Он вздрогнул и недовольно оглянулся на жену.

— Что тебе?

— Ничего, — она пожала худыми плечиками и неожиданно села ему на колени. — А я пришла сообщить тебе замечательную новость: я сумела договориться, и контейнер нам дадут послезавтра. Вашему директору я уже позвонила. Она поторопит с трудовой и прочим. Завтра она ждет тебя.

Радостное возбуждение, с которым он бежал домой и сидел за этим столом, как-то сразу исчезло. Игорь почувствовал усталость и раздражение.

— Послезавтра, — повторил он и шлепком поднял жену. — Ты проявила необычайную оперативность.

Ему вдруг до тошноты захотелось курить. Он захватил сигареты и вышел на балкон. Ну вот, равнодушно подумал он, подставляя лицо мокрому ветру, я ничего не успел. Я не успел дописать свой

рассказ. Я не успел полюбить этот город. Я не успел доучить своих детей. Я не успел дать немного счастья женщине, которая любит лошадей и краски. Я уезжаю, и после меня остается пустота.

Он выбросил окурок и вернулся в комнату. Рассказа на столе уже не было. Он рассмеялся и закрыл лицо руками. Каждый борется по-своему. Он тоже должен бороться.

— Ты далеко? — Лена подхватила Катюшку на руки. — Ты уходишь, когда надо упаковывать вещи? Думаешь, я не знаю, куда ты собрался?

— Тем лучше.

— Нет! — она испугала ребенка криком, и девочка закукилась. — Ты куда не пойдешь! Я знаю, ты о ней писал эту чушь! Она забивает тебе голову всякой ерундой. Она хочет себе душу облегчить: раз уж бегаешь от своего художника, то не к простому смертному, а к писателю! А у тебя, может, и таланта-то никакого!

— Ну знаешь, — у него затряслись губы, но он умел владеть собой. — Уж в этом ты не соображаешь, так не лезь. Взялась судить о таланте. Сама-то ты кто? Домохозяйка!

— Ах так? — Лена опустила дочку на пол. — А кто виноват? Ты же ни черта достать не можешь! Даже ребенка в садик не можешь устроить. У других учителей нет таких проблем, один ты ушами хлопаешь.

— Я никогда не занимался такими вещами.

— Ну и подотри свою честностью, а меня не смей упрекать!

— Дура! — распалась, крикнул Игорь и толкнул жену в грудь. — Уйди лучше.

Она задохнулась и в голос зарыдала. Игорь, поморщившись, выскочил из дома, хлопнув дверью.

На улице моросил дождь. Игорь пошел вниз по улице к набережной, машинально обходя свежие лужицы. Злоба его улеглась. Он просто дал волю раздражению. Это не борьба, а истерика. Кажется, он превращается в истеричку. Сюжет

для небольшого рассказа. Когда-то он, кажется, и вправду неплохо писал, но на занятиях литературной группы с ним обошлись так жестоко, что сразу отбили всяческую охоту заниматься этим неблагоприятным делом.

Он бросил писать, занялся школой все-рез, влюбился в Алю, метался, пытается угадать, что же это за женщина, да так и не угадал. Сейчас она здороваается с ним на ходу, почти не глядя, и он почему-то чувствует себя виноватым, хотя вины-то вроде и нет. Не из-за Димкиной же смерти им ссориться, в самом деле!

Игорь свернул в соседний двор и под-нялся к Мишке Охтину. Они вместе при-шли в школу, оба преподавали литера-туру, и если бы ученики, семья и Аля не отнимали у Игоря столько времени, он обязательно сдружился бы с Мишкой. Но у обоих вечно находилось что-то бо-лее важное, чем вечер вдвоем.

Сегодня он шел прощаться. Вернее, ему хотелось думать, что он идет про-щаться, а не зондировать почву. Игорь оставлял здесь Алю, а Мишка был един-ственным, кроме него самого и престарелого военрука, мужчиной в школе. Он понимал, что его мысли недостойны, но все равно шел.

Мишка сам открыл дверь: веселый, усатый, крепкий, наверняка выносливый, неутомимый любовник.

— Привет,— сказал Игорь, без при-глашения снимая мокрую куртку.— Я посижу у тебя немного?

— О чем речь! — Мишка гостеприимно развел руками.— Проходи в мою комна-ту, я сейчас попрошу маму насчет чай-ку.

— Ты с мамой живешь?

— Да. Жена ведь сбежала, когда ме-ня в эту глушь заслали,— он хохотнул.— Мы, правда, и жили далеко не в столи-це, но с тем, что здесь, сравнить, конеч-но, трудно. Да, вот такие дела. А ты не знал, что ли? Я думал, уже все знают.

— Значит, ты сейчас вроде холостяка? —

ревниво спросил Игорь, оглядывая ком-нату.

— Почему — вроде? Холостяк и есть. Садись. Музыку включить?

— А что у тебя есть?

— Что? Что же у меня есть? А, вот Лозу недавно купил. Песня тут классная есть — «Плот». Включить?

— Давай,— вяло кивнул Игорь, опу-скающаяся на диван.— Я ведь, Миш, уезжаю.

Михаил осторожно извлек из конверта пластинку.

— Да я в курсе.

— Откуда?

— Алла говорила. По-моему, она огор-чена твоим отъездом. Я вчера заглянул в ее кабинет, уже после шестого урока. Думаю: кто так поздно тут торчит. А она меня так резко спрашивает: «Что, мужички, разбегаетесь из школы?», хотя я бы не сказал, что она сама душой к школе приросла. Ну, я, естественно, по-интересовался: кто разбегается. Она и сказала, что ты. Что, мол, бежишь из это-го города.

— Да,— он повертел в руках конверт.— Бегу. От всего бегу.

Михаил вздохнул сочувственно и при-сел на край стола:

— Вообще-то мне жаль, что ты уез-жаешь. Ты — настоящий учитель, ребя-там нужны такие.

— Ты тоже учитель...

— Я... смеюсь! А вообще это совсем не смешно. Ты никогда не чувствовал себя собакой?

— Что значит собакой?

— А то самое: понимаешь, а сказать не можешь. Знаешь столько, что череп ломается, а слов не подобрать. Тебе это не знакомо, ты у нас известный Цицерон.

— Да уж, поболтать я горазд.

— Вот именно. Я ведь готовлюсь дни и ночи. Веришь, за год ни одной новой книжки не прочел, некогда. А ты все берешь нахрапом, я тебе даже завидую, честное слово.

— Нечему,— Игорю захотелось закрыть глаза и ни о чем не думать. Но он только

набрал побольше воздуха и ободряюще сказал: — Ты только не паникуй. Болтологией заниматься научись.

— Да тут не только в этом дело... Вот мы все говорим об оригинальности мышления, а ты им высказал свое мнение о социалистическом реализме, и они опали, честное слово. Может, у вас там это было в порядке вещей, а здесь с оригинальностью слабовато. Ты всех нас поставил в тупик и уезжаешь. Ну там тебе, конечно, получше будет. А мы пока раскачаемся... Ладно, пойду насчет чайку...

Игорь кивнул и закрыл наконец глаза, слушая наивно-печальную песню о том несбыточном, что еще жило где-то и в нем и что он убивал своим отъездом, потому что выходом из будней был для него не другой город, а одна-единственная женщина, которая никогда не любила его.

Ему стало тоскливо до тошноты. Он вскочил, прошелся по комнате, увешанной книжными полками и вымпелами, послушал, о чем Мишка говорит с матерью на кухне, но не разобрал ни слова и тихо выскользнул в коридор. Он боялся, что его станут удерживать, и потому, захватив ботинки и куртку, выскользнул в подъезд.

На улице ему не полегчало. Он оставался, разглядывая яркую, но безвкусно оформленную витрину универмага, но тревога все сидела у него под ребрами, и не было возможности от нее уйти.

Он зашел в кафе, непонимающе оглядевшись, встретился с испуганным взглядом одной из своих учениц и снова вышел под дождь.

В чем дело, спросил он себя, что я вдруг заметался? Разве не я так рвался уехать из этого города и, если уж быть до конца честным, от этой женщины? Может, не в отъезде дело? В чем же?

Он перешел на другую сторону улицы и понял, что приближается к Алиному дому. К большому веселому дому с ко-

лоннами, одному из тех немногих, что радовали глаз горожанам. Ее муж имел квартиру в этом доме.

Не нужно, остановил он себя. Вот этого не нужно. Я понял, с чего все началось. С Димкиной смерти. С того, что я поспешил свалить вину на этих военных, стараясь забыть о том, что попросил Димку завезти Лениной подружке баночку спирта. Маленькую баночку из-под сметаны. Но если выпить столько спирта в Димкины шестнадцать лет, то ничего не стоит угодить под грузовик. Проще пареной репы! Господи, какой ужас!

Игорь ткнулся головой в водосточную трубу и закрыл лицо руками. Я не позвонил и не узнал: привез ли Димка ей тот злосчастный спирт. Я боялся услышать подтверждение своим догадкам. Военные не сжульничали, Димка был действительно пьян. Я ухватился за слова девочки, потому что слишком страшно было думать, что это я убил брата.

Потом я наврал Але и избегаю ее теперь. Я предпочел выглядеть в ее глазах трусом, но не убийцей. Я прогадал: Аля не простит трусость.

Я наврал и себе, пытаюсь доказать, что еще могу стать писателем. Я не учел, что злодейство и талант несовместимы. Это старая истина, но я забыл о ней.

Он добрался до телефонной будки и долго шарил по карманам, отыскивая двушку. Нашлись только десять копеек, но это и в другое время было бы неважно.

— Аля,— сказала он хрипло, услышав ее голос.— Я не могу, я не хочу от тебя уезжать. Если тебе наплевать, скажи сразу.

— Нет,— ответила Аля, помолчав.

Он подождал, пока она что-нибудь скажет, потом заговорил сам.

— Твой Новацкий вертится рядом?

— Нет.

— Аля, я сейчас приду к тебе. Мы возьмем твоего мальчику и уедем к моим родителям. Я должен рассказать тебе одну вещь, я не трус, Аля. А еще

могу построить тот самый плот... Что ты молчишь?

— Поезжай спокойно. Все было очень хорошо.

Он бросил трубку и застонал от бессилия. Только сейчас он почувствовал, как в будке воняет мочой.

— Какая радость, — передернувшись, проговорил он, выскакивая на воздух. — Я все-таки уеду из этого города. Уеду.

Она услышала гудки и, замерев, положила трубку. Только не плакать, сказала она себе, ты ведь сама решила этим кончить. Ты знала, что он позвонит, но решила, что это не тот человек, ради которого стоит идти на жертву. Но, оказывается, все гораздо крепче вросло. Каждый Он вырывает что-то с корнем из души. Что толку от трех бессонных ночей и нескончаемой лихорадки, кроме головной боли и апатии. Ты должна взять себя в руки. Если бы так не болела голова, все было бы значительно проще.

Она прошла в комнату и взяла газеты. Надо освободиться от этого ноющего беспокойства. Он уезжает, и слава богу! Пора подумать о спасении души. Что же пишет наша пресса? Встречи на высшем уровне. Хорошо им там встречаться на высшем уровне! Все смотрят тебе в рот и щелкают фотоаппаратами. Как ноет сердце! Так. Бомбы взрываются, демонстрации разгоняются, как и положено при их загнивающем строе. А у нас? А у нас... Что? Персональная выставка Вадима Новацкого? Интересно, что я узнаю об этом из газет. С чего это ему устроили выставку? Что выставлять-то? Вот куда, значит, наряжался Вадим... Почему же он скрыл от меня? Ведь хвалят же его, хвалят! Так в чем же... «Необычна для этого художника лаконичность и глубокая выразительность контрастных цветов в картине «Девочка у черной стены». Не может быть... Господи, он украл мою картину! Что же это?

Она отбросила газету и вскочила. Как же так? Как же он посмел? Моя девочка... Я сама у черной стены... Он крал мои мысли, он украл мой талант!

Аля, задыхаясь, натянула сапоги на босу ногу. Плащ... Где же плащ? А, вот он. Ну погоди же, Вадим Новацкий! Ох, как болит голова. Даже зазвенело в ушах. Ничего, я просто здорово разволновалась. Как он посмел? Думает, что кушил меня вместе с моим талантом? Ничего не выйдет, мой миленький! Это я, а не ты у черной стены. Откуда тебе знать, что бывают черные стены? Это я, с девяти лет, не знающая света, но несущая его в себе. Ты и не подозреваешь, сколько во мне света! Никто из вас не догадывается об этом. Как болит голова! Ничего, дождь остудит ее. Одна, всегда одна у черной стены, а кругом — вори, любовники, трусы, подонки! Все одним миром мазаны. Только и ждут, как бы что стащить у меня. Не-ет, не получите! Дулю вам с маком! О, как трещит голова!

Чей это топот? Кто-то гонится за мной? Нет, это я сама, мои каблукки. Отчего я всегда ношу каблукки? Как они стучат! Их стук впивается в мозг. Я разгорячена, кажется, что мой мозг расплавлен и перекатывается в голове. Кто-то кричит мое имя... Это Он. Зачем он гонится за мной, разве он еще не уехал? Скорее! Этот тоже хочет забрать у меня что-то... Моего Максима... Скорей! Я отберу у него девочку... Какую девочку? Разве Максим — девочка? Нет, у меня сын, это я точно знаю. Зачем я бегу? Мне нужно забрать свою душу. Я боюсь не успеть.

Вадим Новацкий с беспокойством приглядывался к посетителям, ревниво отмечая, на которую из картин обращают больше внимания.

— Ваша «Девочка...» удивительна, — разводя руками сообщил Волович, старый пейзажист. — Вы открываетесь новой гранью. Столько выразительности...

— Да, — нетерпеливо перебил его Новацкий. — Ну, а остальное? Что вы скажете о других работах?

— Как всегда, великолепны, — уклончиво ответил Волович, оглядывая зал. — Но любимая из ваших работ — это старая картина «Детский страх». Чудо!

— Да, — снова сказал Новацкий. — А мои портреты прежних времен? Они нравились вам?

— Красавицы-колхозницы? О-о, я помню, про вас даже анекдоты сочиняли в связи с этими красавицами. А вообще вы удивительно выросли с той поры.

— Спасибо, — недовольно отозвался Вадим, отодвигаясь от старика. — Спасибо, что пришли.

Черт бы тебя побрал, выругался Вадим про себя. Очень мне нужны твои дилетантские отзывы! Думает, что я жаждал услышать от кого-то другого о собственной бездарности. Впрочем, откуда ему знать. Он сам — жалкий бездарь, и все они бездари. Я знал здесь только одного талантливого художника — Виктора Подгорного, но у него вышла какая-то личная трагедия... Говорят, что некая молодая художница, которой он отчаянно завидовал, сожгла у него на глазах все свои полотна. Трудно, конечно, поверить в эту легенду, но он действительно допиллся до чертиков.

У меня тоже есть своя такая художница. Я ничего не сказал ей. Она узнает позже. Никуда не денется, проглотит и это. Я стал неплохим отцом ее ребенку, а она все стерпит ради мальчишки.

Он услышал какой-то шум и недовольно оглянулся.

— Что там? — спросил он кого-то из посетителей, но тот так же недоуменно пожал плечами.

Вадим прошел в большой зал и неожиданно увидел Алю. Она ужасно выглядела: мокрая, растрепанная, в распахнутом плаще и сапогах на босу ногу. Вадим отступил за дверь и осторожно выглянул в щелку у косяка.

Теперь все смотрели на Алю. Хорошо,

что ее почти никто не знает из тех, кто в зале, с облегчением подумал Новацкий. Значит, она пронохала про «Девочку...» Ну что ж, посмотрим, кто ей поверит. Тем более такой странный вид. О господи, она хохочет! Уж не пьяна ли она? Да она, кажется, сдвинулась...

Он отшатнулся от щели и вытер вспотевший лоб. Не может быть... Хотя наследственность и все прочее. Но ведь не было никаких признаков!

Тем лучше, мелькнула у него мысль. Нет, что это я? А что я теряю? Она уходит целиком в мир своих фантазий. Я стану навещать ее, и она будет давать мне посылки из своего мира. Сумасшедшие идеи — тоже идеи. Когда она очнется, то узнает, что я не бросил ее сына, воспитывал его, и это вернет ее ко мне.

Какая гадость! Боже мой, какая гадость — эти мысли. Он с раздражением отшвырнул платок и шагнул в зал: — Аля!

Она вздрогнула и отскочила от него. Лицо ее было злобно напряженно.

— Аля, иди сюда.

Она съежилась и не двинулась с места. Теперь все озадаченно глядели на Вадима.

Это конец, мелькнуло у него в голове, я вышел, признал ее и этим погубил все. А-а, пропади все пропадом!

Снова послышался какой-то шум, и в зал вбежал тот самый парень, что однажды приходил к Але. Кажется, они работают вместе.

— Аля, — крикнул Игорь, останавливаясь в дверях.

Она затравленно оглянулась и съежилась еще больше.

— Что им нужно? — жалобно спросила она, глядя на одну из картин. — Зачем они все время гонятся за мной?

Девочка с картины горестно покачала головой.

— Ничего, — пробормотала Аля, боком пододвигаясь к картине. — Сейчас я приду к тебе, и мы вместе победим эту черную стену.

Александр Фомин

ЮРОДИВЫЙ

Волкодавами травили,
Под ребро вгоняли крюк,
А потом к кресту прибили —
Пригвоздили кисти рук.
Были грязные старухи,
Каркал ворон по утрам,
И кладбищенские мухи
Пилю сукровицу ран.
И белела плоть живая
На юру в метель и зной...
Никому не пожелаю
Я судьбинushки такой.
Но не плакал, не метался,—
В ясный полдень наяву
Было чудо — оборвался
И упал на мураву.
...Уж давно не жду погони,
Сам себе принадлежу
И сквозь дырочку в ладони
Я на солнышко гляжу.

В ШАХТЕ

Спускаюсь я в палеозой,
Где в царстве тьмы и пыли
Отбушевавшею грозой
Рептилии застыли.
У них свой нрав и свой устав,
У них свои суставы,—
Глядят, на цыпочки привстав,
В груженные составы.
Ушли с поверхности дневной
Вчерашние сатрапы,
А здесь нависли надо мной
Их каменные лапы.
С прошедшим временем на «ты»,—
А значит, не случайно
Порой ползет из темноты
Утробное рычанье.
И ни окошечка вдали,
Ни солнечной полоски,
И лишь истории Земли
Я слышу отголоски.
И фонарем раздвинув мрак,
Там, где цвета пожухли,
Торю тропу, за шагом шаг,
Сквозь угольные джунгли.
И нет ни ночи мне, ни дня.
И кровь в висках толчками.
И смотрит вечность сквозь меня
Усталыми зрачками.

Светлана Трущева

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА

Трепещут на ветру штаны —
идут небритые сыны
озеленять сады и скверы
на благо матушки-страны.
От посягательств сатаны
хранят их милиционеры.

Вокруг стоит сплошной туман.
Сыны копают котлован,
ростки втыкают вверх корнями
и за получкой едут в банк,
и выпивают спирта жбан,
и заедают сухарями.

А через год здесь всходит вдруг
канализационный люк
и зеленеет, плесневея.
Не покладая сильных рук
печальный слесарь чистит люк,
от нежеланья зеленея.

* * *

Вошла в числе паломников во храм,
где белые жрецы таинственны и немые,
где страждущие люди по углам
стоят и с верой ждут решения проблемы.

Там высится на белом алтаре
печально-голубой, печально-голый ангел.
Он синее крыло воздел к заре
и светом воссиял, являя веры факел.

А я, благоговения полна,
упала вниз лицом, вскричала в иступленье:
не исчезай, я каюсь, я грешна,
от голода спаси, избави от волнений.

Не исчезай! Утри мою слезу,
из крови заberi лютующую стужу,
не исчезай — я в жертву принесу
родителей, друзей, родню, детей и мужа!

Не исчезай — иначе вымрет мир,
не зная, на кого надеяться при жизни!
Не исчезай, божественный кумир!
Помилуй и спаси людей моей отчизны!

Я плакала и пела без конца,
в повторях прихожан мой голос затерялся,
но вскоре жесты главного жреца
поведали, что день безвременно скончался.

И храм святой с названием Гастроном
покинули мы все, исполненные веры,
что завтра вновь на бдение войдем,
едва он распахнет свои большие двери.

САД НА АСФАЛЬТЕ

Я люблю этот сад с ароматом гудрона.
Я живу здесь две полные тысячи лет.
Заводные жуки на траве из пролона
плот жужжаньем веселый и добрый привет.

И макеты стрекоз в электрическом свете
бесподобно дрожат в полимерных цветах.
Вентилятор дает освежающий ветер.
Ветер листья трясет на картонных кустах,

на стеклянном заборе играет сонату,
порождая тревогу и мелочный страх
неизвестно о чем. И кричит виновато
лысоватый кукух в антикварных часах.

Подтверждает сонату и вселяет тревогу...
Чтоб забыться — отбойный беру молоток
и взрыхляю асфальт не спеша, донемногу:
и кладу семена, помолясь на восток.

А потом поливаю бензином и спиртом.
И когда появляется первый росток —
мне легко. И душа наполняется миром
и поет, прославляя всходящий цветок.

* * *

Вот стул. Нигде не числится рабом,
стоит свободно, растопырив ножки,
сверкая гнупоклееным ребром,
гордясь сиденьем из воловьей кожи.

Он за свободу пламенный борец,
он делегат от группы дуболомов
на двадцать энный съезд в большой дворец
с докладом о вреде сырой соломы.

Он создает древесный комитет
по выпуску искусственного хлеба
и трепетно хранит свой партбилет
в подкладе за обивкой где-то слева.

Он возглавляет мебельный профком,
он член союза Стульев-Демократов.
И бойся угостить его пинком
иль осквернить неблагородным задом!

Гарий Немченко

КОРОЛИ ЦЕПЕЙ

РАССКАЗ

Лучше бы мне, конечно, проснуться на пять минут раньше, когда это еще не пришло мне в голову, или пятью минутами позже — бывает же: что-то там тебе такое приснилось... почудилось, показалось... что-то решилось во сне, мало ли, а ты только перевернулся на другой бок и — привет!.. Нету — все! Нету и не было — заснул.

А тут вот ведь какое дело: ну, тютельница в тютельница совпало! Ну, точь-в-точь.

Просыпаюсь на даче на нашей под Звенигородом — звучит, а? — просыпаюсь в бревенчатой пристройке к избе, где и можно спать только летом, на безымянной этой — потому что она единственная улица в Кобякове — от станции до деревни полчаса пешком через лес, — так вот, просыпаюсь от хлопанья бича над оврагом, где обычно гонят с фермы коров, просыпаюсь и ясно так, совершенно определенно и отчетливо думаю: да ладно уж!... Санкт-Петербург он покинул, понимаете ли, таким образом, что каждый из семнадцати зрителей потом клялся, что видел его проезжающим именно через его, этого зрителя, станцию — все это в одно и то же время, в один час. Знаменитый этот Волшебник. Граф Калиостро. Когда императрица Екатерина из русской столицы его вытурила...

Или тот же мой тезка — Гарри Гудини, да.

И руки ему в железные цепи заковали, и в крепкий полотняный мешок за-

шили, и в сундук положили, на ключ заперли. В воду бросили, и тут же он обратно — из воды: вот он я!.. Выныривает: явился — не запылится.

Или с тою же Бутыркою: да хватит, подумал я, хватит!.. И обыскали, видишь ли, чтобы ни одного, значит, металлического предмета с собой не осталось, и в одиночке закрыли, а он вот он — уже у ворот тюрьмы: пожалуйста — здрасте!

Да ясно мне теперь, ясно, как это все делалось, — ясно!

И я стал вспоминать, как почти тридцать лет назад, так давным-давно, Господи, — да чуть ли уже не в те времена, когда дурачил доверчивую публику мой тезка Гудини, — так вот, почти тридцать лет назад сидим мы у меня в холостяцкой квартире на пятом этаже, где вода появлялась — набрать в ванну на все случаи жизни — только глубокой ночью, сидим и пьем водку, наверняка ее, потому что красного Володя на дух не принимал, — так вот, пьем водку, а он, значит, Володя Манеев, то законы шулерского искусства объясняет, а то показывает, как щипачи, воры значит, карманные работают...

Ну, нам, комсомольцам-добровольцам, кто в Новокузнецке, на нашей стройке, недавно, еще бы не интересно, гордость советского, значит, спорта, олимпийский чемпион по классике, по классической борьбе, — щипач!.. Смелись, как детишки, и просили еще показать — и Лейбензон, и Славка, и я. Трем из городских

было в общем-то все равно, к фокусам Манеева относились они спокойно, но Генаша Емельянов в те минуты явно страдал, и вот почему: ну во-первых, все эти Володины номера видел он уже, как уверял, в сто тридцать третий раз, и потому ему было, якобы, очень скучно, а во-вторых... Это куда серьезнее — во-вторых...

Своими фокусами Володя, конечно же, надолго занимал площадку, как говорится, и Генаша, который сам ее любил занимать, ворчал, то и дело добавлял в свой стакан и говорил гадости — сперва очень даже мило, а потом уже — насколько не заботясь о форме: лишь бы гадость...

Один из нас — а мог это делать только Славка, только с ним еще Генаша иной раз считался, — так вот, Славка попросил: Генаша, мол, потерпи — потом и ты выйдешь на ковер, и ты выступишь, следующий номер — твой, а пока — потерпи... Недаром же он столько лет потом, Славка, этим занимался, делил площадку между иллюзионистами и фокусниками уже в «Госцирке», когда был там генеральным директором, пока они его наконец не сжевали чуть ли не на глазах у изумленной публики — как тигры надоевшего им неумелого укротителя, единственным достоинством которого была принадлежность к рядам коммунистов-единомышленников...

Генаша, видно, решил переменить тактику — такое с ним бывало и раньше. Само собою, что делал он это бессознательно, совершенно искренне, и от этого на глазах у него выступали слезы и голос начинал дрожать...

— Старик! — громко заговорил Генаша, обращаясь к Володе Манееву. — Сердце обливается кровью, когда подумаешь: до чего ты докатился!.. Тебе самому не бывает горько и стыдно?.. Или ты уже забыл, что это такое, и совесть тебя не мучает?.. Ну, конечно, такую ряшку, как у тебя, — какая там совесть сгложет?.. А ведь таких борцов, как ты...

сколько в мире таких борцов?.. Раз-два, и обчелся? Да если только собрать все вырезки из газет о том, как ты турка положил на лопатки, и то кипа будет потолще, чем кандидатская у Бориса Спелышева, который пишет писателям письма под видом рабочего Пупкина: объясните, мол, дорогой Михаил Александрович!.. Объясните, дорогой Александр Трифонович или Ярослав Васильич!.. Что вы, мол, имели в виду?.. Мол, я простой рабочий, не понимаю!.. А жогда они отбросят коньки, тут для него начнется рай: письмо Шолохова рабочему — ну, как же, как же!.. Письмо Твардовского!.. Смелякова!.. Тебе, кандидат, не стыдно? Ты как гриф, который ждет, чтобы носорог поскорее помер, а он потом начнет клевать его — тебе не стыдно?!.. Да о том, как ты турка, Маней, на лопатки положил, у тебя кипа больше, чем альбом с публикациями в центральной прессе у нашего друга, у «офицера-русского флота» Кости Аристархова, который уверяет семнадцатилетних дурачков, что ТАСС, в котором он работает — это тайное агентство Советского Союза, и они верят... старик!.. Ты ведь гениальный борец, Маней!.. Ты, кондовый сибиряк и русский самородок, и ты на лопатки бросил турка, которого до тебя не бросал никто, старик! Но вместо того, чтобы теперь под рев публики где-нибудь в Мадриде, Лос-Анджелесе или где-нибудь в Вальпараисо с поднятыми над головою руками прыгать посреди ковра над сломанным противником, па-ла, чем ты занимаешься, старик?.. Тебе не стыдно?.. Ты только и знаешь лаять, тоннами жрать водку и при этом показывать, как незаметно снять часы или вытащить бумажник — это ты, ты, ты?.. Положи тогда руку на сердце и скажи: да, ребята, я спился, — да!.. Эту схватку я проиграл: нет молодца, который победил бы винца, нет!.. Подобные речи Генаша и раньше говорил — каждому из нас, потому что его медом не корми — дай кого-либо обличить, и все мы к это-

му давно привыкли, относились спокойно и даже как бы с пониманием, но тут Володя вдруг часто заморгал, часто-часто, из голубых его, с влажной поволокою глаз, чуть слезы тоже не брызнули — такие же, как у Генаша, искренние: два друга!

— В Красноярске через неделю — зона, — сказал он, протягивая Генаше правую пятерню. — Я еду и ленту чемпионскую привожу... идет? На ящик водки — держи!

— Ты? — Генаша закричал. — Ленту?! Не смейся, старик! Не смейся.

Но Манев уже сграбастал его ладонь:

— Разбейте, мужики!.. На ящик белой.

Мало ли кто из нас чего-то, вот так же не обещал?.. И так же вот — непременно на ящик водки — не спорил?

У каждого свои дела, у каждого — своя жизнь, и мы об этом тут же забыли, как вдруг Генаша, с которым мы работали тогда в одной маленькой редакции, сказал мне, нарочно поскребывая в затылке:

— А ведь я проиграл, старик, представляешь?.. Нынче вечером — у меня. Заедешь со мной за ящиком?.. Вдвоем — оно-таки поудобней... привез-таки он ленту!

И теперь мы собрались у Генаша, уже в городе, и Володя Манев сидел с широкою красной лентой через плечо, и по ней золотыми буквами выведено: **ЧЕМПИОН СИБИРИ**.

Как это вам понравится, а?!

Ящик есть ящик — из бутылок лилось рекой, и все обнимали Володю, и все говорили, что он, конечно, мужик, да, борец, каких поискать, самородок и гений ковра, уника — вот, разве не доказательство?! Столько лет не выходить на ковер, совсем уже бросить тренировки, и тут вдруг — раз!.. И ваших нет, как говорится, мужик, чего там! Это — мужик!

Сразу же изрядно отяжелевший Володя вдруг привстал, снял с себя ленту,

подошел к Генаше и старательно поделил ее тому на тощую грудь.

— Твою! — сказал Володя. — Носи!.. Это ты ведь меня завед, сам бы я не поехал... Сам бы я не собрался, если бы не вы тут — все!

— Красноярск — это серьезно, мужики! — кричал Генаша, поправляя на себе ленту. — Одни ребята Ярыгины чего стоят!.. Поднимем за Володю, старики!.. Давай — за Манея, мальчики! За русского медведя Манея, которого его дружки-шахтеры совсем почти споили, но нет, вот он собрался с силами, встряхнулся, и все эти щенки посыпались с него, в самом деле — шархнулись, как от хозяина тайги!.. За тебя, Маней! За тебя!

С лентою через плечо сидел потом Слава, потому что он тоже был тогда с нами, Карижский, когда Володя Маней завелся и принял, значит, это решение — под занавес тряхнуть стариной и с почетом уйти с ковра, уйти чемпионом; потом она ниспадала, лента, на уже заметное брюшко «офицер-ра русского флота» Кости Аристархова, который вообще-то морским офицером никогда не был, а был во время войны аэродромным технарем; потом ее по очереди надевали второй кандидат наук — быстроглазый Коля Якушин, который всякий раз доказывал, что он не еврей; и Юрка Лейбензон, Робинзон, Леонидыч, главный механик жилищно-коммунальной конторы в нашем поселке, «главный сдергиватель», как его Генаша называл. Главный герой многих наших рассказов — в них кочегары его вечно лезли в неостывшую топку, чтобы спасти замерзающий поселок, а он командовал ими, сидя по горло в ледяной воде — лопнули трубы: как тогда велось, это было в порядке вещей — «нормальный ход»! Это он всякий раз, когда мы встречались, добивался от кандидата правды насчет «колен Израилевых» — наверное, чтобы не быть в компании одному; чего ему, казалось бы, не хватало?.. При-

мерно за полгода, ну, самое большее за год перед этим мы с ним вместе были в командировке в Москве и вместе на Казанском вокзале провожали эшелон с добровольцами, который шел напрямик на нашу стройку... И на перроне гремела музыка, мелькали вокруг счастливые лица: уезжающие к нам демобилизованные солдаты говорили неумелые, но такие искренние тогда речи, а девчата, москвички, каждому дарили цветы. Но мы-то уже на стройке успели лиха хлебнуть, мы знали, что этих парней там ждет, и только понимающе с Лейбензонем переглядывались и грустно вздыхали. Почти постоянно покрикивал громкоговоритель — кто-то кого-то ожидал у штабной будки с радиостанцией: девчонка — парня, товарищ — товарища... Меня вдруг переполнило и чувство любви к моему другу, оставившему в Москве и папу с мамой, и предавшую его жену, и к нему, который был тут, рядом, и ко всем нашим общим друзьям, таким же бродягам, которые ждали нас там, на нашей стройке, на переднем крае... И я отошел к будке, немножко поговорил там, и минутки через три над перроном громко разнеслось: «Товарищ Лейбензон Юрий!.. Вас ожидает брат...» Когда он вышел из-за будки, физиономия у него была растерянная, и тут он увидел меня, и радостная, счастливая улыбка расплылась по его широкому, с крючковатым носом лицу, и мы бросились друг к другу, крепко обнялись и вытерли потом слезы, когда наконец отпустили друг дружку... Разве не было, выходит, у него тут, в Новокузнецке, братьев?.. Но он искал, без конца искал, как сам он говорил, иудеев, и даже вот приставал к кандидату... почему, думаю, нам-то, русакам, как бы даже предсудительно называться братьями, сразу, если что, — великорусский шовинизм, а?!.. Потом ленту дали все-таки надеть на себя Боре Спелышеву, хоть он и дожидался, словно гриф смерти носорога, кончины доверчивых наших классиков, что-

бы после опубликовать их ответы простому рабочему Пупкину; потом выпала честь и мне посидеть с лентой на груди — ведь и я там был, мед-пиво пил, как правило — пил всегда последним, потому что был из них самым младшим, носил кличку Джон Поникший Тростник и бегал, когда надо было добавить, в магазин — до тех пор, пока не приехал из Ростова и не занял место Джона голубоглазый, как Володя Манеев, немец Роберт Кесслер, сын репрессированного главного механика Азовского пароходства. Так что был и я, был — хоть и недолго — обладателем красной ленты: **ЧЕМПИОН СИБИРИ.**

Генаша, не желавший отдавать площадку, снова — на этот раз уже с друзьями подробностями — взялся рассказывать, как Маней «заломал» турка, но Володя вдруг грохнул кулаком по столу и всхлипнул — в голос и, как мальчишка, взახлеб...

Много лет спустя судьба меня забросила в Майкоп, туда мы приехали жить после Сибири, я по ней тосковал и отводил душу, когда в этом игрушечно-красивом и чистеньком — после дымного Новокузнецка — городке, столице маленькой, гордой Адыгеи, начинались соревнования по борьбе — республиканские, а то и Союза... В Майкопе тогда было много прекрасных самбистов, чемпионов страны и чемпионов мира, некоторые из них как раз в эту пору переходили в дзюдо... вижу их и сейчас, какие это были ребята!.. Адыги Арамбий Хапай, Гумер Костоков, Аскер Емиж, грек Аристотель Спиров, три Владимира — Невзоров, Гурин, Дутов... У нас были добрые отношения с тренером, Якубом Коблевым, хотел написать о нем и часто приходил в пединститут на тренировки, но когда начинались чемпионаты, «брал открепительный»: «Якуб Камбулетович, родной, не обижайся, если одинокий мой голос в зале услышишь, — кто ж еще будет болеть за сибиряков?».

Хорошо помню и сибиряков той по-

ры — правда, им тогда крепко не везло: ни красноярцам — кроме, может быть, Эдика Агафонова, его именем и фамилией, в благодарность за мужество вдалеке от Сибири, я назвал потом одного из главных героев своей повести «Скрытая работа»... Ни нашим, новокузнецким, не везло — и старому украинцу Посуконочке и молодому татарину Басирову, ни немцам Вагнерам — кузнечанину и новосибирцу...

Кто-то из них, из сибиряков, когда я пришел в гостиницу их утешить и вспомнил «старые времена» и «старую школу» — Володю Манеева, получившего под занавес чемпионскую свою ленту, — кто-то из них тогда и сказал мне: «Так вы не знаете, судя по всему, как было дело?.. О, да это же целая эпопея, как он тогда выступал, Володя, как он всем в Красноярске голову тогда заморочил!.. С каждым своим противником посидел накануне, поговорил: ты понимаешь, мол, не хотел ехать — попросили! Ну, некого в этом весе за город выставить, кроме старика Манеева, — некого!.. А я на ковер уже несколько лет не выходил — да что ты! Меня сейчас любой мальчишка положит, не то что ты — посмотри-ка, в какой ты форме!.. Сам-то хоть понимаешь, что чемпион нынче — ты?! Только не играй ни в какие игры — ни с кем ни о чем!.. А я, видишь — стыдно на ковер выходить! Олимпийский чемпион и — вдруг... Ну, ребята уши развесят!.. Некоторые так прямо и спрашивали: чем тебе, Володя, помочь?.. А он: просьба к тебе! Вон в какой ты форме — не бросай меня сразу, бедного старика! На первых секундах. Давай хоть пяток минут потопчемся, а?.. Захочешь бросить, шлепнешь — сам под тебя лягу!.. Такую красивую победу тебе сделаем!.. Ну, ребята, конечно: да что ты, Володя, что ты?.. Какой разговор! Сколько тебе надо, столько и будем топтаться — о чем речь?.. Устанешь — скажешь, Сам шлепнешь. Чтобы все по уму. Чтобы — тип-топ!.. Обнимаются. Бьют по рукам... Ну, и с одним Володя выходит — неожиданно

ломает на первой секунде, и со вторым так, и — с третьим... Да еще тут же шепчет: извини, кореш!.. Сам виноват, — ну, так ты мне подставил бедро, ну, надо — не провокатор, а?! Второму шепчет: а ты думал — тут одними руками, что ль?.. Нет, брат! Тут и головой иногда не мешает! И не рассказывай никому — проходу не дадут, будут смеяться. Третьему: правильно пойми — хотел тебя научить. Больно доверчивый — тебе злости не хватает. Спортивной. Теперь в тебе появится — вот увидишь!.. Это тебе от Манеева — как подарок: на память! Только — никому!.. И все ребята — как языки проглотили — он же психолог!.. А когда уже ему эту ленту вручили и все ребята собрались, ждут — он же столик заказал, честь по чести! — ну, ждут, а его все нет и нет, тут они разбор учений и начали: «и меня просил потоптаться, а потом тут же бросил!.. И меня тоже... и меня!» Тут кто-то: а кого ждете, мужички?.. Если Манеева — только сейчас в такси сел, около гостиницы, у него поезд — вот-вот... Ребята по перрону за ним бежали, что вы!.. Поезд тронулся, а он стоит в этой ленте у двери вагона и — ручкой ребятам, ручкой!.. А вы говорите — лента!.. **ЧЕМПИОН СИБИРИ**... Вот так она ему и досталась тогда, эта лента!

И вот я проснулся на своей даче под Звенигородом, в русской Швейцарии, в деревне Кобяково, в бревенчатой пристройке к избе, где только летом и можно спать, проснулся и вдруг думаю: баба-ба!.. Да так же оно все и было — и у Калиостро, у графа, которого за его штучки императрица Екатерина из Санкт-Петербурга вытурила!.. И у тезки моего, у Гудини... вот все пишут: один, мол, его заковывал в цепи, другой в мешок зашивал, третий замыкал сундук — для верности, мол. Чтобы «без брешень», как в родной моей станице на Кубани говорят. Эге ж!..

Да в том-то и дело, что одному этот хитрован Гудини успевал шепнуть: «Ты-

то не очень, кореш, старайся, а то мне ведь еще мешок разрывать — как я его тебе разорву, если ты тут меня крепко-накрепко, ну, пожалуйста!..» А этому, что мешок зашивает, он уже другое поровит: видишь, мол, руки скованы — болван этот, кузнец, постарался — пошевелить не могу!.. Думает: сила есть — ума не надо! Ты-то хоть будь человеком — не усердствуй, иначе как я его, мешок твой, — со скованными руками?.. Ты об этом, кореш, подумал? А с тем, что сундук должен закрываться, — с этим и вообще ясно: да что ты, кореш?.. Хочешь, чтобы я нырнул и — с концами?.. Мне же еще и щепи рвать, и из мешка выбирать, а ты еще и замкнуть хочешь — ты опомнись!.. С виду вроде бы умный человек — неужели тебе не ясно?!

Ну, и так вот, «на дурочку», всякий раз и берет.

То же самое — и с Бутыркою, когда он из Америки из своей в Россию на гастроли приехал... Разве жандарм — не человек?

И вот, когда он обыскивает этого Гарри, моего, значит, тезку, тот хоть и толкует ему по-английски, зато в глаза смотрит ну таким понятным любому русскому взглядом — ну таким!.. Тут и английский знать не надо, взгляд этот ясно говорит: что ж ты, друг?! Ну, отберешь ты у меня все, что у меня в карманах. Ну, закроешь потом в этой самой одиночке — я потом так в ней и останусь сидеть. Кому от этого будет весело?.. Ты ведь умный человек, хотя и русский, да к тому же — жандарм. Ты подумай!

И жандарм думает про себя: а правда!.. Ну, одним меньше — в одиночке, одним — больше... делов! Сколько тут осталось до революции? Всего ничего!.. И сколько тогда собак на нас навешают, на жандармов!.. Черной краской измажут — век не отмоешься... И ведь ничего не докажешь — и слушать не станут, нет! Россия есть Россия... другое дело с этим иностранцем — с Гудини. С шарлатаном с этим. Вдруг потом какой-нибудь догад-

ливый человек да и поймет, что мы его просто пожалели... у них же потом в Америке придется зерно покупать нашим умникам!..

И вот лежу я, бич все хлопает, коровы мычат, через щель в пристройке куриным пометом, ну, так несет — когда пошли разговоры о том, что надо бы землю крестьянину вернуть, они тут же на нашей территории курятник построили, соседи — хоть сами в деревне не живут, тоже — дачники...

И вот куриным пометом — всюю, и с петушками своими жлобским голосом Толя, сосед, разговаривает, как будто — на полу, в нашей комнате, так слышно, а я лежу и думаю: да раскусил я весь ваш калиостризм — гудинизм, ну нет, что ли?..

В каком уже это году: в Новокузнецке Вольф Мессинг выступал, совсем уже старенький, бедняжка, а я туда как раз из Майкопа приехал... Ну, пошли с друзьями на Мессинга, а там кто-то возьми и напиши ему записку: задание, значит, которое тот должен выполнить... Человека, мол, который сидит в ложе, вывести на сцену, достать у него из кармана паспорт и прочитать имя — отчество — фамилию... чего ж тут непонятного?.. Гарик вернулся, писатель наш, — вот его-ка пусть Мессинг на сцену и вытащит! А мы с них посмеемся. С обоих.

Я уж теперь не помню даже подробностей — так грустно все это выглядело.

Очень старый человек... очень. Тычет, как слепая охотничья. Невольно хочется помочь ему — лишь бы перестал мучительно вздрагивать да жалко тряситься...

То ли с пятого, то ли с седьмого раза, держа за руку заказавшего это действие, перестал он приставать к другим, кто сидел в ложе, повел-таки на сцену меня... Потом из нагрудного кармашка достал старую квитанцию, говорит: тут записка, но текст огласить я не могу — она любовная, даме по имени... нет-нет, не могу раскрывать чужие тайны!..

Тут я не выдержал, сделал движение, которое он, конечно же, ощутил, как преддверие речи... И он зашептал — тоже жалко так: «Помолчите, прошу вас!..»

Ну, ладно, думаю, — ну, уж ладно!.. Сказал волшебник — любовная записка, а не квитанция... как знать?.. Может, это тот редкий случай, когда квитанцию выписывали с любовью... старенький какой... Помрет скоро... и жил бы себе спокойно... ладно уж! Промолчим.

Ну? — спрашиваю себя. — Что ж тебе не ясно с ними со всеми?

С графом Калиостро. С Гарри Гудини, с твоим тезкой. С Вольфом Мессингом и Володей Маневым?

Выехал из Санкт-Петербурга из семнадцати мест сразу!.. Заковали его, запили в мешок, сундук на замок закрыли, а он — вот он! «Король цепей» — как же, как же!

Могилу, приказывает, вскройте, через сто лет — увидите: будет пустая!

Зачем их вскрывать?.. У кого они есть, конечно, — охо-хо!

Король цепей — да все мы, думаю, короли!.. Цепей, да.

Только у меня они — одни, а у того — другие...

И так мне что-то стало вдруг скучно.

И так горько отчего-то.

Уж лучше бы, думаю, проснуться мне на пять минут раньше. Или на пять минут позже.

Заснул бы — и все дела.

Как не думал!

И по-прежнему верил бы.

Всем волшебникам. Всем фокусникам. Всем иллюзионистам, одни из которых предлагают их заковать, другие — наоборот: всех освободить от цепей обещают. Всем великим обманщикам. Великим темпильщикам всех времен и народов. Вешателям лапши.

Им всем!

Леонид Гержидович

* * *

Впитали листья стронций,
И воздух терпок. Но
Тянитесь, травы, к солнцу,
Оно у нас одно!

Печальные пичуги,
Обжившие леса,
Рассыпьте по округе
Живые голоса!

Березы, зайцы, совы,
Кричите о весне,
Чтоб истина и совесть
Барахтались во мне.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Второпях оглянулся
На забытость берез

И под небо вернулся,
Где родился и рос.

Разглядеть он пытался
Под наплывами лет,
Где и как затерялся
Оборвавшийся след.

Но, как брошенный в омут,
Был он жалок и мал
И отцовского дома
И родни не узнал.

Одичалое солнце,
Торопясь за село,
Обронило в колодце
Беспробудство его.

Ковш старушка напиться
Протянула, как мать,
Чтоб не смог научиться
Жизнь с азов понимать.

Евгений Харламов

ДОЧЬ

* * *

Ты живи!
Ты живи неустанно —
Заклинаю,
Пророчу,
Молю!
Имя доброе,
Бабкино,—
Анна —
Я тебе не случайно даю.

Я хочу,
Этот мир открывая
Пред тобою,
Тебе передать,
Дорогая моя,
Зоревая
Вместе с именем и благодать,

Чтобы ты добротою умела
Выверять все поступки свои...
Ты живи!
Неустанно и смело,
Откровенно и честно
Живи!

* * *

Солнце день поднимает на щит,
Уползают в овраги туманы.
Как отчетливо жилка стучит!
Как дыхание ровно у Анны!

Прорастает непросто зерно —
И темно прорастанье и тайно.
Как мечтал я об Анне давно!
Как явилась она не случайно!

— Поздравляю с приходом тепла!—
Слышу в каждом его щебетанье.
Как улыбка у Анны мила!
Как понятно ее лопотанье!

Просыпается малый росток,
Поднимается, тянется к свету...
Как же раньше без Анны я мог!
Как не пестовать радость мне эту!

* * *

Что наполняет жизнь мою?
Что делает ее светлей?
Ночь, уходящую в зарю,
И радость дочери моей.

И жаловаться недосуг
На привередливость судьбы,
Когда вхожу в просторный круг
Весенне-праздничной толпы.

Когда веселый птичий торг
Среди раскидистых ветвей
Уже порыв,
Уже восторг
И радость дочери моей...

И голубые небеса,
Распахнутые глубоко,
Ее открытые глаза
Вбирают жадно и легко.

РИМКА-МАТУШКА...

РАССКАЗ

Римку увезли на «Скорой» в один из красивых осенних дней, и в свое общежитие она больше никогда не вернулась, потому что день тот был последним в ее жизни. Теперь, сидя на узенькой Римкиной кровати, Кеша старался припомнить, какая она, Римка. Припомнить и понять. Ведь раньше он приходил сюда просто любить... Любить той любовью, которая наступает томительной ночью и уходит с рассветом. А ласкать Римку умела. И потому, наверное, утром Кеша мысленно прощался со светленькой комнаткой и чистенькой кроватью, а вечером, бессильный сладить с собой, снова скромно проскальзывал в двери знакомого общежития. Вахтерша помалкивала. Кеша догадывался, что это Римма все уладила, она работала продавщицей в универмаге, а дефицит — он горы рушит и моря сушит.

— Объявился? — шутливо спрашивала подруга. — А у меня еще подушка на батарее не просохла с той поры, как ты со мной напозизненно распрощался. Слезы, они ой как долго не сохнут. Кеша!

— Заставишь тебя реветь, поди, разве что слезоточивым газом, — сердито ворчал незадачливый полюбовник, пряча добрые серые глаза.

— Да вот по тебе я как раз и голосила бы день и ночь, разлапушка ты мой, да проку от того... А то так бы голосила!

— Покойник я тебе, что ли?

Римкино лицо стало красивым и строгим.

— Навроде того, Кешенька. Не любишь, знаю, а все лишнюю ночь отколдовать мечу. Такой мед я с тобой пью, такой мед... — зашептала Римка, и ее разгоряченная ладошка скользнула за ворот Кешинной сорочки. По его телу пробежался знакомый жарок. Но прошла минута — другая, и опять видел он перед собой бабу, «каких миллион».

— Кеш, а что ежели мне замуж выйти, а? Человек есть хороший, ласковый.

— Уж спытала? — насторожился Кеша.

— А как же! — хохотала Римка. — Перво-наперво! Человек-то — для жизни...

— Врешь все...

— Что «спытала» — вру, а что замуж берет — правда.

— И где это в вас, бабах, правду искать, — отмахивался Кеша. — Я вот и сам подумываю определяться...

— Кеша Кеша и есть, ни мужик, ни полмужик... Не пойдет за тебя твоя глазастая. Знает, что ко мне ходишь. Она гордая, да и не пара ты ей. А вообще никто не знает, кто кому пара, а кто нет... Ты бы бросил ко мне ходить, может, простила бы...

— Теперь я назло...

— А может, и так простит, но помани мое слово — отыграется потом, света белого не взвидишь. Ой отыграется!

— Она не такая...

— Да ну тебя! Все мы бабы, как бо-

бы, на одной грядке сеяны. Так и придется тебе меня в жены брать.

— Будет смеяться-то, кабы ты еще не старше была...

— Старше — не значит хуже, так-то... Твои дружки все баб понабрали, да еще с детишками. И не хуже людей живут.

— Живут...

— Из-за нее все... — вздыхала Римка.

— Из-за нее, — соглашался Кеша.

— А еще из-за того, — снова переводила все в шутку она, — что ты — ни мужик, ни полмужика...

На том и расходились. Иннокентий исчезал на недельку-две и все свободные вечера снова тратил на то, чтобы перекинуть мостик к непримиримой своей Любаше. Но та ни горела и не грела. Отдалялась все дальше. А начался разлад из-за пустяка. Обхаживал он, как мог, свою Любашу без малого год. Оберегал, будто нежную ромашку на людном месте. Была она тонконогой и белокурой. Взаимностью вроде отвечать начала. Тут Кеша и решился от нее своего добиться. По-современному, как городские дружки советовали. Но тут ромашка такие вдруг шины выставила...

— Значит, не любишь, — подытожил он.

— Исчезни, и чтобы я тебя больше, бесстыжего, в глаза не видела! — шумела Любаха.

— Я тебе сердце предлагаю, а ты оскорбления...

— Оно, сердце это, все мужики под одежкой прячут. Козе его подари!

— Вон ты злока какая! — вспылил наконец и Кеша. — Если так, то покедова! Лучше с козой расписаться, чем с тобой!

— Кешенька! — вдруг подобрела Любаха. — Ты так бы и сказал сразу... Расписаться если...

Но обиженный Иннокентий даже не обернулся. На этой же неделе полюбовницу себе завел, как все бывалые парни из его общежития. Так и пустил свою личную жизнь по течению. Любаха предательства ему простить не захотела.

Так и притерся он со временем возле любящей его женщины. Вроде бы и нужен он был Римке, а с другой стороны — на свободе, не в законном браке.

Римме обещали комнату-гостинку. Она ждала ребенка, предоставив, однако, Иннокентию полное право выбора.

— Поступай как сам считаешь, чтобы меня не корил потом. Ребеночка воспитаю. Пора мне уж обзавестись. От любимого все-таки... Денег я подкопила. Наберусь сил и от тебя оторваться со временем. Потом, может, и замуж за кого соберусь. Ребенку отец нужен.

— Хватит, — строжилась Кеша. — Человек я или скотина какая... чтобы...

— Ты добрый, хоть и бестолковый, — смеялась Римка. — Ребеночка, что ли, нашего наперед жалеешь?

— И тебя... Тяжко, поди. Вона как ворочается, юбка трещит, сшила бы что посвободнее.

— Сошью, Кешенька, сошью, — ласково соглашалась Римка. — И тут же, садясь на своего конька, озорно поддразнивала: — А зря жалеешь. Не надо бабу жалеть... А мне бы поговорить с тобой об одном деле надо, — осторожно намекала Римка. — Надо, да тяжело начинать...

— А ты не начинай, жизнь большая, наговоримся. А то расстроишься — на дитя повлияет... Позже все обговорим.

— Кеша, я за тебя боюсь, кто тебя, как я, поймет-пожалует? Ты же что дитя малое... Помни слова мои, чудушко...

«Помни слова мои, чудушко...» — слышалось близкое, почти вчерашнее. И Кеша вдруг с ясностью осознал, что любил он только одну ее, а той, что до нее была, попросту, как картинкой, любовался!

Ох, жалел теперь, что не сказал ей этого, не успел. Жил себе под солнцем, сытостью исходя, будто каравай, только что из печи вынутый, а теперь вроде как полбока отхватили. Судьба обернулась с ним самым ярким образом... И напрягая

свой неповоротливый ум, Кеша размышлял, размышлял...

Ночь коротать, оно, ведь и с другой, и с третьей можно. Как бабу ни поверни, она бабой и останется, да есть же и хорошее слово — женщина. Такую каждый мужик раз на своем веку встречает, ежели повезет. А невезучему или завалищему только такую бабу знать и дано, которая кочаном капустным обрастет, а листа от себя не отдаст. Все выгоду искать будет. На такую, откройся базар, так за сотню пятаком бы платили, и то сначала поторговавшись. Поздно понял все... Горе горькое опередило, как в песне той: «уж ты прости меня, Прасковья...» Не пятаком, жизнью оплати — не вернуться потерянному.

...Ушла вот. Не простилась. Он же, пустой человек, муж некоронованный, только теперь узнал, каким больным и слабым сердце у нее было. Зря врачей не послушала, не надо было родить-то, а может, при ином его отношении и другой исход был бы? Хотя бы словечком обмолвилась когда, боялась на жалости сыграть, видно. И век ему от самого себя прощения не будет! Она же его любила! Значит, послушала бы совета, вначале сердце подправить, а потом с дитем бы успелось. Это она врачей не послушалась. А его бы — послушалась... Его любила, потому и дитя губить не стала.

Да и не собиралась помирать-то, поди, на лучшее надеялась. Не быть прощению, не быть... Смерть, змеюка стоголовая, только счастьем и питается, а всяк след оставить норовит. Цветок отцветший, и тот семечко в землю роняет... Так вот и она...

Римка-матушка ты моя, землю-то влага напитает, а мальчишке как без мамкиной титьки?

В тот же день Иннокентий держал беседу с главным врачом роддома.

— Ты не красная девица, утешать не стану, — сказал врач. — Рожали женщины и потяжелее, спасали. Беда вас выбрала. До последнего боролись. Но сердце на этот момент сбой дало...

— Понимаю, сердце новое не вставишь...

— Вставляют, а пока свое береги. Тебе мальчишку растить. А может, подумаешь хорошо? У нас за новорожденными очередь. В хорошие руки отдадим ребенка. Что ты с ним делать один станешь?

— Пусть за брошенными стоят, а этому я отец. Да мы его на парном молоке с мамкой... сынка-то... сынок, значит...

К горлу Иннокентия подступил тугой ком. Трудно было продохнуть.

— Значит, сынок, — одиноко сидя в больничном скверике, повторял он. — Сынок...

Василий Дятлов

СИБИРСКИЙ СТАРЫЙ ТРАКТ...

Сколько бурь и потрясений пронеслось над ним за долгие-долгие годы! Именовали его и кандалным, и каторжным, и работающим. И в каждом из названий, как отмечал один публицист, была отражена та его тяжелая «обязанность», которую нес знаменитый Московско-Иркутский тракт.

Он более полутора веков представлял собой единственный торговый и почтовый путь, связывающий зауральские пространства с центром России.

Движение по нему во все времена года шло непрерывно. Только между Томском и Иркутском было занято свыше 16 тысяч ямщиков и 80 тысяч лошадей! Одних лишь грузов, не считая пассажиров, перевозилось до четырех миллионов пудов в год.

«Сибирский тракт,— писал сто лет назад, весной 1890 года, А. П. Чехов по пути на остров Сахалин,— самая большая дорога во всем свете. В центре России гудок паровоза уже сменил малиновый звон, а здесь... Представьте себе широкую просеку, вдоль которой тянется насыпь сажени в четыре ширины. Это и есть тракт. Почти единственная жила, связывающая Европу с Сибирью...

И по такой жиле в Сибирь течет цивилизация!»

История доносит до нас скудные данные о его возникновении. Сенатским указом 1731 года был намечен к строительству тракт от Москвы до Иркутска. С того времени и началось его интенсивное заселение.

В поисках лучшей доли устремились сюда люди, тысячи и тысячи разорившихся крестьян из центральных губерний России.

Сколько российских семей-переселенцев связывали свою судьбу с трактом. Теперь и они уже коренные сибиряки.

И, кажется, это о них писал Александр Твардовский:

На новых землях, в стороне, открытой
Для счастья людям, долго жизнь трудна.
И кажется она им необжитой,
И помнится другая сторона.
И нужен срок, чтоб здесь укорениться,
Чтоб жизнь иную памятью облечь.
И новым детям нужно здесь родиться,
И должно дедам в эту землю лечь...

По территории нашей области тракт пролегает, начиная с Юргинского района. Затем продолжается через Яйский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский районы.

...В пятнадцати километрах от города Юрги асфальтированное шоссе подступает к старинному селу Просоково. Правда, из старины здесь почти ничего не осталось. Здесь и проходит тракт.

Село большое, в несколько улиц. Это центральная усадьба совхоза «Лебяжье». Средняя школа, больница, лесничество, несколько магазинов, мастерские, клуб, участки дорожного строительства. А неподалеку, на опушке темного соснового бора, уютно разместился межколхозный санаторий-профилакторий. И еще. Лет десять назад открылась в Просоково первая в сельской местности нашей области школа искусств...

Интересна история этого села. Интересна и самобытна.

Благодаря стараниям одного увлеченного

человека, большого знатока и патриота родного края, село имеет свою летопись. Имя этого человека, учителя истории местной школы,— Николай Васильевич Плиско.

С волнением и любовью рассказывал он мне о дорогах его сердцу здешних мест.

— Появилось наше село в 1691 году. Как оно возникло? Пеший казак Василий Лузин и конный казак Иван Томилов распахали пашню по речке Кандирец, основали поселок. Но почему село называется не Кандирепом, а Проскоковым?

Дело в том, что вскоре поселок сгорел. И жители переселились в устье Кандирепа, что впадает в речку Лебязку, к семье Проскоковых, которые обосновались там. Их дома уцелели. С тех пор и стало именоваться село по фамилии первых поселенцев — Проскоковым.

Я собирал эти записи в Томском государственном архиве, выписывал отсюда все названия по нашему району. Эти данные были взяты из дозорных переписных книг Томского уезда от 1719 года, из копий купчих крепостей, закладных и меновых крепостей и чертежной книги Сибири...

Николай Васильевич лукаво улыбнулся и добавил:

— А вообще-то есть еще одна довольно забавная версия о происхождении названия нашего села. Ведь оно, сами видите, стоит на бойком месте. Раньше здесь нередко случались разбойные нападения: грабили казенные почтовые кареты и богатые купеческие обозы. Подъезжая к этим глухим местам (тогда тут был непроходимый лес), ямщики, перекрестясь, гнали лошадей и шептали дрожащими губами: «Господи, помоги проскочить».

Вот так, говорят, и получило название село Проскоково.

Что ж, любопытная версия.

От Проскоково тракт продолжается строго на север, к Томску.

А раньше он миновал губернский город, сворачивая у села Варюхино к Томи. Там паромщики переправляли путников и конные обозы на правый берег реки. Эту ва-

рухинскую переправу ярко описал А. П. Чехов в своих очерках «Из Сибири».

После Томска тракт уходит на юго-восток.

Первым в Кемеровской области на его пути стоит село Ишим. Было оно когда-то волостным. Здесь насчитывалось несколько сотен дворов. Главным украшением Ишима была златоглавая церковь с могучими куполами, остатки которой и сейчас сиротливо возвышаются в центре села.

В этой церкви, как гласит летопись, закладывал заупокойный молебен по своей супруге Анне Васильевне — Александр Николаевич Радищев, дворянский революционер-демократ, следовавший в конце восемнадцатого века в Илимский острог, в ссылку.

Позже в Ишиме останавливались декабристы по пути на каторгу в Забайкалье. Проезжали это село и их жены, первыми из которых были княгини Мария Волконская, Екатерина Трубецкая, Александрина Муравьева. Не миновали Ишима Чернышевский, народолюбцы, многие светлые умы России...

Как красивы здешние места! Под горой, замедлив свой бег, неторопливо извивается голубая лента реки Яи. Открываются захватывающие дали, маяющие березовые рощи.

Красив тракт на всем протяжении нашей области.

Вот уже замелькали села и деревни Ижморского района: Колыон, славный своим героическим прошлым в годы гражданской войны, далее — национальные татарские села Нижегородка и Теплая Речка. Они чистенькие, ухоженные. Около каждого дома аккуратный красивый палисадник. Чего не скажешь о многих других притрактовых поселках...

Вот накатанное полотно тракта как бы обрывается, и перед взором предстает панорама большого современного села Постниково, центральной усадьбы колхоза имени Ленина.

Несколько лет назад мне рассказывал о нем старожил села, первый кавалер ордена Ленина, знатный механизатор Михаил Степанович Кореневский. Кстати, он хорошо

помнит и время коллективизации и всякие несуразности в связи с этим.

— В тридцатые-сороковые годы,— говорил Михаил Степанович — в нашем районе было 138 колхозов. И каких только названий они тогда не носили! «Пробуждение», «Верный путь», «Стальная борона», «Трудовой штурм», «Рабочий молот» и даже... «Малиновый пахарь». Да, да, именно малиновый!

Что ж, бывало такое время...

И еще факты далекой старины.

В 1898 году в Томске вышла книга профессора Беликова с необыкновенно простым названием: «Первые русские крестьяне — насельники Томского края и разные особенности условий их жизни и быта. Общий очерк».

Автор подчеркивает, что интенсивное заселение Ижморского района началось в связи со строительством Сибирского тракта. Сюда переводились и ссыльные, и монастырские крестьяне в принудительном порядке, которые приписывались к Пачинскому монастырю. Некоторые поселения были основаны беглыми крестьянами еще до возникновения тракта.

Самым старым в районе считается деревня Большая Песчанка. Профессор Беликов указывает дату ее основания: 1700 год.

Почти три века назад!

Следующим «старожилом» является село Берикюль (не путать с рудником Берикюльским Тисульского района!) — 1750 год, затем — Нижняя Почитанка — 1753-й, Колыон — та же дата.

Немного «моложе» Постниково — 1826 год...

С постройкой в конце прошлого столетия Транссибирской железной дороги тракт временно утратил свое былое величие. (Но с развитием производительных сил Сибири снова стало возрастать его значение. Усилилось движение грузового транспорта, легковых автомашин.

Несомненно, за многие-многие годы тракт сильно изменился. Почти на всем протяжении он покрылся щебенкой, местами оделся в асфальт. Выпрямились его извилины. Кое-где прошел стороной от населенных пунктов, чтобы не пылились деревенские

улицы от множества проходящих машин. В придорожных селах появились добротные постройки школ, больниц, домов культуры. Выросли целые микрорайоны нарядных кирпичных и рубленых домиков.

Но что-то несусловимо-самобытное, притягательное ушло из этих мест навсегда...

Старожилы рассказывали мне много интересного об этих исторических местах. Села и деревни, оказывается, строились в те годы через строго равные промежутки друг от друга. Сейчас, понятно, нет уже множества поселков и бывших крупных деревень. Но сохранились их яркие приметы — белоствольная березовая роща, аккуратный плоский холм, где проводились веселые игрища. Остались и другие приметы.

Возникает резонный вопрос: кто же в те далекие времена обслуживал такое несметное количество ямщиков на тракте и их многочисленных пассажиров, если ночь захватывала людей, как говорится, в чистом поле?

Все, оказывается, было предусмотрено.

Через определенные десятки верст находились при тракте так называемые постоялые дворы. По нынешним понятиям, вроде дорожного мотеля-кемпинга. За вполне сходную плату любой путник мог получить здесь кров и стол.

Постоялый двор в состоянии был обеспечить теплым стойлом и кормом большое количество лошадей, дать приют одновременно многим людям с неизменным самоваром и пельменями. Самому мне доводилось еще в пятидесятые годы видеть в колхозных конторах такие гигантские самовары.

Как все по-житейски мудро было у людей! Имелись самовары (трех- и пятиведерные) даже с тремя секциями. С тремя! Одновременно в таком самоваре кипятили чай, варили пельмени и яйца вкрутую или всмятку.

Вспоминая сейчас свои журналистские поездки по Сибирскому тракту, многочисленные задушевные беседы со стариками, невольно подумал: чем же добрым можем мы отплатить работяге-тракту, какую хорошую память оставить о себе?

А не возродить ли нам хотя бы один на кузбасском отрезке тракта постоянный двор?

Но отнюдь, не декоративный, а вполне реальный, с пользой действующий.

Ведь нуждаются люди, ох как еще нуждаются и в приюте на ночь, и, главное, в горячем питании на многокилометровом пути.

Так вот. Чтобы была здесь, прежде всего, гостиница. Безо всяких там хрустальных люстр, каминов и бархатных портьер. А пожитейски уютная, приветливая и просторная. И, конечно же, гараж при ней, машин хотя бы на десять-пятнадцать. И обязательно столовая. Но чтобы не стала она очередной общепитовской «точкой» с убогим выбором съестного.

Ведь, исходя даже из сегодняшних продовольственных возможностей, вполне по силам иметь в меню постоянно горячие щи и пельмени, тушенную с мясом картошку, соленые огурцы и грибы, студень и яичницу, блины и сибирские шаньги, пирожки с капустой и морковкой. Творог со сметаной, молоко. И непременно чай с медом из самовара.

Хорошо бы еще вспомнить старину и внести в меню парёнки. Поясню, кто не знает: это томленные (паренные) в чугушке в русской печи или духовке свекла, морковь, репа, брюква. А вдруг да найдется еще умелица и сварит кулагу!

Поверьте, здесь не требуется заморских продуктов и иноземных поваров и кондитеров. Ведь это умеют (да еще как умеют!) наши сибирские хозяйки. Правда, теперь далеко уже не все...

Да еще бы баньку с парком и березовым веничком!

Стоит, наверное, подумать и о названии такого оазиса. Чтоб было оно звучным, ярким, запоминающимся. Скажем, для примера: «Вот мчится тройка!», «Метелица», «Отрада ямщика»...

Несомненно, все это потребует немалых хлопот, финансовых затрат, материальных ресурсов, дополнительной рабочей силы.

Но наверняка и окупится скоро. Люди

оценят заботу о них и, как говорится, за ценой не постоит.

Есть тут о чем поразмыслить районным руководителям, сельским энтузиастам. Наверное, могли бы активно откликнуться, показать пример студенческие строительные отряды...

А тракт продолжает свой бег дальше, на восток.

Сразу же за деревней Большая Песчанка почва становится тверже. То и дело по пригоркам виднеются песчаные осыпи, выходы белой глины. К самому тракту дружно подступают вечнозеленые могучие сосны. Они чередуются с веселыми березняками, осинником.

Вот уже позади старинное село Берикуль. Оно завершает Ижморский район.

Село Тюменево — первое на территории Мариинского района.

Интересную историю поведал мне его житель Владимир Гаврилович Николаенко. Его дед служил в старину при постоялом дворе и помнил множество забавных, невероятных случаев.

...Был на тракте знаменитый ямщик Агафон Савельев. Имел он добрую резвую тройку в красивой сбруе. Зимой запрягал коней в расписную кошевку, летом — в нарядный, легкий на ходу тарантас.

Вез он однажды в лютый крещенский мороз знатного пассажира до Мариинска, который страшно спешил на званый обед.

— Гони! Успеешь вовремя — озолочу! — кричал седок, запахнувшись в медвежью полость.

И тот гнал, не жалея своих рысаков.

Недалеко от Тюменева, рассказывал дед, от бешеной езды у Агафона слетела с головы его знаменитая шапка с бархатным верхом. Ах, какая напасть! Но ямщик даже головы не повернул, не оглянулся на потерю.

Он лихо насвистывал, щелкал кнутом и все погонял, погонял каурых!

Пассажира доставил ко времени. Угодил барину. За что и был щедро награжден.

А на обратном пути крестьяне вернули

ему шапку, которую подобрали на дороге. Агафона люди уважали...

Перед Мариинском тракт поворачивает направо, к городу. Там он пересекает железнодорожное полотно Транссибирской магистрали, затем реку Кию и параллельно железной дороге продолжается по Тяжинскому району, затем уходит на территорию Красноярского края.

Здесь рельеф местности постепенно меняется. На горизонте маячат невысокие горы, покрытые лиственницей. Это северные отроги Кузнецкого Алатау. Уже чувствуется дыхание Восточной Сибири.

Невозможно равнодушно проезжать эти места. Мысленно представляешь далекие

времена. И толпы колодников, которые, «взмывая дорожную пыль», тянулись по бесконечному долгому этапу в неведомые края.

Или мужественных первопроходцев, с завидным упорством обживающих эти суровые места.

И снова приходят на память строки поэта:

И как в иной
Таежный угол —
Издалека вела сюда:
Кого приказ,
Кого заслуга,
Кого мечта,
Кого беда...

Владимир Иванов

* * *

Еще скользят
по снегу лыжи,
и нет людей
на берегу.
Еще мороз
сквозь щели дышит,
а днями
держится в логу.
Но холст зимы
на клочья рвется!
В округе проталь,
птичий гам,
и ручеек
беспечно вьется
веревочкой
к моим ногам...

* * *

Еще утрами сыплет иней споро,
и санный путь бугрится на дугах,
еще снега лежат за косогором,
овраги все затеряны в снегах,

но у зимы не стало воли прежней...
И это ощущаешь тем ясней,
когда у ног проклянется подснежник
на рыхлом пепле прежних вьюжных дней...

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

«...Возмутительно, что многие в СССР посвящают себя отрицанию и разрушению исторических подвигов и необыкновенных заслуг этого героического народа».

Фидель Кастро, газета «Индепендьенте», Мадрид.
Журнал «За рубежом», 1990, № 5, стр. 4

1

Старые убеждены, что раньше было лучше, молодые же дерзко верят в то, что они проживут свой век благополучнее и умнее, чем их отцы. Такова уж суть человеческой природы. Однако сегодня, бесспорно, моральное преимущество имеет тот, кого, как говорят, не клевал жареный петух. Прошлые грехи теперь учтены и перечислены с бухгалтерской дотошностью, есть виноватые в лице седых и согбенных с пенсионными книжками в карманах. Это они наломали дров — ату их, ату! В упреках, звучащих систематически и фанфарно, присутствует, конечно же, правда. Наломали по неведению и наивности, наломали под руководством гения всех времен и присных его. Но у них, рядовых, тех самых винтиков державной машины, на которой мы двигались к светлым далям, было и есть то, чего у многих из нас не было и уже не будет — святая, поистине детская вера в правоту своего дела и полная самоотдача, присутствующая лишь истинно верующим. На том и стояли. Сегодня, кажется, и стоять не на чем. Узколобый экстремизм кидает нас во тьму, хаос, и в кошунстве своем он неустойчив. Ну вот скажите на милость, по какой причине польские молодчики оскверняют могилы наших солдат, братьев-славян, спешивших на выручку соседям, чтобы ски-

нуть с их плеч нетерпимый гнет оккупантов. Спешили и — погибли, подставив грудь пулям. Шестьсот тысяч упало на землю за Речь Посполиту, целый город Новокузнецк ушел в небытие, представьте себе это, и вы почувствуете, как по коже идет мороз, вы поймете для себя вкратце, до какой низости может докатиться гомо сапиенс, имеющий в черепной коробке килограмм с лишком серого вещества, омываемого теплой кровью. Все это уже было: фашисты жгли книги на кострах под босовские призывы колченогого греховодника Геббельса, китайские хунвейбины разбивали «собачьи головы» инакомыслящих, наши комсомольские удалцы в кожаных скидывали с церкви колокола, ставили к стенке интеллигенцию лишь за то, что на их руках не замечалось пролетарских мозолей. В Азербайджане и Армении стреляют из ворованных автоматов в людей по национальному признаку: не наш, значит, второго сорта. Слабый налет цивилизованности слетает с нас вдруг, будто окалина с железа, и обнажает пещерный оскал кишечно-полового агрегата, как говаривал мрачноватый сатирик Салтыков-Щедрин. Разоблачительство, ниспровергательство и претензии на абсолютную истину кончаются диктатурой. Пора бы это знать.

Очень сейчас важно не грозить кулаком прошлому, а упорно думать над тем, как нам

выкарабкаться из пропасти. Кстати, люди старшего поколения имеют к молодежи серьезные претензии. И одна из них звучит так: «они не умеют работать, мы работали лучше». В этом утверждении есть резон, и я хочу вас познакомить с человеком, который работать умеет, он не заметил в горячке буден, как откатились годы и осенним иңеем подернулась буйная шевелюра. Фамилия человека — Бельх. Зовут Василием Максимовичем.

2

Он красив и статен до сих пор — большой и ясноглазый. У него отличная память, и я люблю его слушать, потому что он неисчерпаем. Мне минутами даже завидно: я не могу запомнить, какая, например, была зима в прошлом году — холодная ли, снежная ли, теплая ли, не касаясь уж событий более отдаленных, а он — молодец! Такой рассказчик для пишущего — редкая находка.

...Едем в трамвае, домой едем. Максимыч живет где-то в районе Советской площади в Старокузнецке, мой путь дальше. И здесь, в толкучке, не теряем времени. Он, слегка клонясь ко мне, говорит:

— В сорок четвертом, кажется... Да, в сорок четвертом. С фронтов уже облегчительные вести шли — там побеждали, а завод только раскручивал силу, народу не хватало, и вот пригнали к нам партию работяг из азиатских республик. Были там узбеки, туркмены и другие национальности были, наверно. Я в этом плохо разбираюсь: они ведь все поначалу для нас на одно лицо. Кстати, читал где-то, что и мы для них все похожие. Ну, не в том суть. У нас даже курсы организованы были для изучения их языков, чтобы, значит, мало-мальски общаться. Сперва бедствовали с ними. Сядут, бывало, посреди корпуса и чай себе гоняют с этакой невозмутимостью. Маячишь им: давай, ребята, на подмогу, а они и не шелохнутся — куда, мол, торопиться, начальник, ты не торопись. Потом, однако, поняли, что чай в технологию не вписываются, и, скажу тебе, образцово вкалывали и

подмогли нам. Хорошо подмогли! Ну, а сперва-то и смех, и грех. Случай такой был. Получил один узбек свою порцию молока и котелок поставил на виду, а тут бункер с глиноземом. Не знаю, почему и как, но крановщица решила поставить эту бадью в пролете. Да. Почувствовала (опытная была): что-то мешает, подала малость в сторону, нашла свободное место. Хозяин молока прибежал, смотрит, а котелок его, на гриб похожий, осел, сморщился, но ничего не пролилось. Осерчал не на шутку: кто, мол, тут сидел, нашел, понимаешь, скамейку. И, представь, не смогли мы с котелка крышку снять, рвать пришлось. Беда! Солдатский котелок в ту пору был большой ценностью. Пора суровая, но начальство для тех узбеков схитрилось поставить расписную чайхану. Отрада настоящая получилась, клуб натуральный. Туда и мы, русские, заглядывали — чай зеленый пить. Я тебе место покажу как-нибудь, где это заведение стояло. Уехали потом наши помощники, улетели, как журавли, но добрую славу с собой не унесли, нам оставили. А некоторые здесь осели. В живых уже, кажется, нет никого, зато дети и внуки есть. Надо бы найти их, а?

Надо бы найти... Многих надо найти.

А вот еще картина.

Это уже после войны случилось, в те поры, когда широко восславлялся героический труд простого советского человека, направленный на восстановление народного хозяйства. При бесконечном рождении всяких вымученных инициатив и призывов встать на вахту по случаю и без случая на заводах царил этакий хмурый дух таинственности. На Кузнецком комбинате, к примеру, была так называемая спецчасть (может, она и сейчас есть?) — с дверью, обитой цинковой жестью и с зарешеченным окошком. Начальника этой самой части почему-то никогда не было на месте. Мы, газетчики, ходили к нему за разрешением иметь при себе фотоаппарат, чтобы снимать передовиков, а также индустриальные пейзажи с дымами.

Панорамы, к слову, делать воспрещалось. Воспрещалось также называть новую домну, которую строили, по номеру — пять. Комбинат, заметьте, проектировали американцы. В их проекте предусматривалось четыре печи, ну а коли новая... До пяти загнивающие акулы империализма и тогда считать умели. Таких вот несурзных табу было немало. Ну, а секретная служба алюминщиков зашла совсем далеко — она предписывала ни в коем случае не соваться со съемкой в корпуса, где, кстати, нет ничего загадочного — ванны в три ряда, анод, глинозем, кое-где пламя пробивается вялыми языками. И — все. Ну, народ суетится.

Василий Михайлович Белых почти с самого начала рабочей своей карьеры отличался самостоятельностью, сметкой и грамотностью, поэтому не сходил с Доски почета, ну про него, конечно, писалось не раз в том духе, что этот передовой товарищ систематически справляется не только с планами, но и обязательствами. Общественник, конечно. Семьянин порядочный и всякое такое. Слава негромкая, но прочная. И вот однажды репортер, сопровождаемый инженером из главной конторы, прорвался через запреты (его пустили на заводской двор), чтобы сделать снимок, приближенный к индустриальной натуре, чтобы, значит, намек на правду присутствовал и живинка была. Ребята из бригады по заданию капризного гостя несколько раз бегали в корпус и калили докрасна пику, которой протыкали глиноземную корку. Хотя, в общем-то, кто там различит на черно-белом снимке, раскалена пика или нет. Передовику было приказано облизать губы, поскольку, как подчеркнул репортер, ему нужна сочность. Встал Белых, сделал плакатный разворот головы, придал телу гордую осанку и замлел надолго, пока не исцелкана была чуть ли не полная пленка. Снимок появился в газете, и тут обнаружился полный недосмотр с обеих сторон: за спиной ударного бригадира торчал тополиный пенек. Конфузная была история, но пережили.

Такие вот дела.

...Василий Максимович был единственным,

кто выполнил мою просьбу, — написал о себе, о товарищах, о заводе, отдал мне два канцелярских скоросшивателя с листами, заполненными ровными строчками. Он человек старой доброй школы: пообещал и сотворил, как мог. Все мы не графы Толстые, но важна обязательность — качество, теперь почти потерянное как у рядового, так и у командира производства. Увы!

Есть разница между тем, как человек пишет и как говорит. Бумага все-таки сковывает. В изустных рассказах старого алюминщика присутствует этакий легкий юмор, нет в них ни раскаяния, ни тоски. Мой герой искренне считает, что молодые его годы прошли содержательно, не впустую, что жилось, конечно, бедственно, но тепло и открыто, что товарищество было тогда особо крепко, дружба же незатейлива, лишняя корысти и хитрости.

Он судьбу не выбирал — она его выбрала, поскольку время ему выпало такое: быть тем самым винтиком в государственной конструкции, о которой теперь так часто упоминается с сердитой иронией. Жил в деревне под Новосибирском, поехал в поисках доли к родственникам в Киселевск, едва успел прописаться по месту нового жительства, следом почтальон несет повестку — «мобилизуется в ремесленное училище». Мобилизовали и увезли в Белово, на цинковый завод, где с дальним прицелом рассчитывали готовить группу алюминщиков. Почему именно в Белово? Наверное, потому, что технологии мало-помалу схожи. На безрыбье, известно, и рак рыба. Мастера первого запомнил — добрый и мудрый был мужик — Николай Илларионович Барышев. Вася Белых испытал, помнит настоящую радость, почувствовал, что и у него руки не суровой ниткой к одному месту пришиты, когда группой под руководством старого котельщика вручную склепали и собрали большую цистерну по оборонному заказу. Праздник был, и не верилось, что такую громаду сгрохали сами. Но такие вот малые праздники в трудовую книжку не зачисляются.

В июне 1942 года ремесленники под опе-

кой мастера Семена Александровича Карнауха подались на Урал. Железная дорога выделила теплушки, загрузили харч — крупу, жиры, хлеб — и тронулись под унылый гудок паровоза. Путь лежал до города Каменска-Уральского и был расписан по обстоятельствам военного времени на восемь дней. Добрались за десять. И то, считай, повезло. Обратное ехалось трудней.

Алюминиевый завод в Каменске-Уральском оставался в те поры чуть ли не единственным в стране, работающим на оборону. Промышленные мощности на западе страны были уже, как писали тогда газеты, под кованым сапогом захватчика. Вот и повезли на Урал необкатанных да необъезженных учить уму-разуму. Для них, в большинстве своем сельских ребятишек, это было путешествие, полное жутковатого очарования. За каждой горой и каждым поворотом открывались неведомые дали, мелькали полустанки с похиленными домишками, тянулись степи в ковыле, будто заснеженные, проплывали березовые колки, окруженные рыжеватой пшеницей, сосновые боры, круглые озерца, похожие издали на полтинники, реки, большие и малые, отдающие на закате золотом. На станциях их обгоняли военные эшелоны в брезенте, под которым ясно очерчивались танковые бугры, выглядывали, вроде украдкой, пушечные стволы и большие колеса. Эта техника, окруженная молчаливыми солдатами, держала путь к фронту. Царила кругом тихая настороженность и было безлюдье, лишь голоногая пацанва махала вслед поездам тонкими руками — это детство провожало кого-то и куда-то. Провожало с наивной завистью: если уж люди едут, значит, им повезло, значит, они увидят страну чудес, что прячется за горизонтами.

Ну, худо-бедно досхали.

Поселили практикантов в клубе пионеров, кормили в ресторане «Есеть». Он стоял на высоком яру, красиво, и посуду ставили фирменную — ножи и вилки под дутое серебро, а вот наливали в расписные тяжелые тарелки натуральную баланду, иногда каши доставалось. От такой пищи подгибались

коленки и позванивало в ушах. Подкармливали сибиряков уральские заводские дядьки — кто картошки в узелке притащит, кто рыбы, кто малый кусочек салыца в крупной соли, кто луковицу. Картошку пекли на ванах, в глиноземе. Варили тем же способом и уху. Перебивались, словом. А на себе, кроме спецовки, ничего. Клуб, где поселились, был летнего исполнения. Приехали на место в июле и жили до глубокой зимы, так что к голоду для полной выкладки прибавился еще и холод. Терпели. А что прикажете делать? Война не всем мать родная.

Уральские кондовые мужики учили терпеливо, снисходительно, но и строго. Учили работать не за страх, но за совесть. Иначе не умели. Практикантов использовали в основном на подхвате — поднести да подгрести, по ходу давались объяснения — что к чему и зачем. Самостоятельности однако не допускалось, потому как каждый грамм металла был на учете: фронт, подобно неохватному для глаза чудищу, глотал каждый день не только людей, но и так называемую материальную часть. На аппетит чудище не жаловалось.

3

Обратный путь домой был полон злощастия и приключений, описания которых хватило бы на целую повесть, смешную и грустную. Недоразумения слегка мистического свойства начались еще в клубе под названием, как уже поминалось, «Пионерский». Почитай, каждое утро мастеру Семену Александровичу Карнауху, отцу родному, докладывалось с унынием: пропали ботинки, совсем новые, береженные пуще глаза. Как без обуви теперь? Мастер все на свете знал, а вот как обходиться без обуви, на этот вопрос ответить не мог. Тишком провернули домашнее следствие и выявили следующее: ночью некоторые выбегают на волю по естественной нужде и надевают, будто по рассеянности, чужие ботинки поновей, а во дворе, затаясь, ждут их мест-

ные жиганы. Товар в мешок — и айда. На базаре добро всегда в обороте и по высоким ценам. Воры были пойманы на месте преступления, явилась милиция по вызову, справедливость восторжествовала, но радости она никому не принесла. По горячке-то вроде оно и правильно пороки наказывали, зато потом пришлось раскаяться — своих ведь под суд спихнули. Печали прибавила такая картина: когда состав с практикантами трогался со станции, осужденные, уже под конвоем, ремонтировали пути. Когда увидели своих в дверях теплушек, побросали инструмент наземь и заплакали. Судьба этих ребят осталась неизвестной. Путь тюремный тяжек и непредсказуем.

Продуктов — хлебушка в первую голову и тощий приклад к нему — было выделено на десять дней. Но если в западном направлении ехали чуть больше недели, то на восток тащились томительно медленно, колеса будто жевали рельсы, их вялый перестук напоминал теперь редкие удары барабанных палочек. Теплушки отцепляли на полустанках, на закраинных тупиках станций, и мастер Семен Александрович Карнаух бежал хлопотать по начальству. Возвращался обескураженный, утирая потный лоб рукавом фуфайки, вздыхал, как старуха на печи, отворачивал лицо от ожидающих жадных глаз, отвечал привычно уже: «а неизвестно!» Вперед пропускались грузы чрезвычайного назначения — тогда, зимой тысяча девятьсот сорок второго года, все грузы были чрезвычайными. Тем временем кончилась еда, кончились дрова. Вспоминались с отрадой июльские дни, когда ехали «туда». На степных просторах под ветром качалась трава, солнышко еще грело и в предзакатные часы отрадно звенели кузнечики. Нежный этот оркестр сопровождал их всю дорогу, но теперь за тонкими стенками опостылевших вагонов волком завывали метели, снег, вихрясь, бегал по крышам, падал с высоты кольцами, заматаив шпалы. Теснился рабочий класс, обкопченный, немый и скучный, у печурок, рыскал окрест в поисках хоть корочки хлеба или картофелины, которую можно испечь и прогло-

тить полусырую, обжигая губы. Просили, да редко кто давал: самим мало.

Однако и двигались тихохонько. Под Барнаулом — до дому рукой подать — застряли на двое суток. Мастер все слова сказал — хорошие и нехорошие, кому следует, но теплушки застыли на путях беспрочно. В итоге переговоров была оказана посильная помощь: кто-то там свыше распорядился выделить проезжающим два ведра ржаных галушек, да что эта порция представляла для голодной оравы — слону дробина. Поделенные по-братски, те галушки только раздражили и озлобили. Как раз в те печальные часы расторопные братья Шарановы, близнецы, стали подозрительно уединяться по темным углам и там стучали ложками о край закопченной кастрюльки. Едят? Не воздух же едят! Где и что достали? Секрет коллективом раскрыли быстро: в соседнем вагоне стоят бочки с надписью на каком-то иностранном языке, а в них — нечто вроде патоки, она тягучая, сладкая и, значит, годна для употребления. Навались, братва! Навалились пировать на дармовую. Какая посуда была, всю до краев наполнили, благо, бочек много. Завеселились: жить можно! К вечеру же все как один стали зеленеть, измаялись рвотой. Мастер Карнаух, возвратясь после очередных хлопот, застал жуткую картину и схватился за сердце: пришла беда — отворяй ворота. Многое он пережил с этой шепотной компанией, но такого еще не бывало. Дознание провел быстро и кинулся опять на станцию, вернулся с фельдшером и потащил того к бочкам. Фельдшер — человек в возрасте, степенный, — прочитал надписи и с загадочной печалью покачал головой. Мастер понял, что надвинулась катастрофа.

— Что это, товарищ?

— Это, милейший, мазь от чесотки и предназначена для лошадей.

— Выживут?

— Стационар нужен. Срочно. Отравление серьезное.

Начальник станции, узнали, живет неподалеку в своем доме. Он уже научился ничему не удивляться и страха не испытывал,

поскольку успел пройти не только огни, воды и трубы, но и кое-что еще. Однако начальник натурально отвалил челюсть, когда к нему ввалилась закопченная и зеленоликая орава во главе с мастером Карнаухом, затопала грязным снегом половики и в разноголосицу выдала ультиматум: если скорейше он их не отправит по адресу, к завтраму они разберут забор на его усадьбе на растопку, а следом, если затопырится, то и дом — от крыши и до последнего венца будет порушен. Может, это помогло: уехали той же ночью.

Мастер не спал, придавленный тревогой: «Довезу всех или не довезу кого!?»

В городе теплушки встретила «скорая». На лошадах развезли по больницам, отмыли, подлечили, выходили. Никто, слава богу, не помер от сладкой лошадиной патоки.

4

В 1943 году первая группа ремесленников аттестовалась, закончив курс обучения, и участвовала в пуске завода, а ровно через год по итогам конкурса по качеству продукции Василий Максимович Белых (тогда просто Васька), будучи уже бригадиром электролизников, за первое место был отмечен именными часами, американскими несносимыми ботинками, шнурованными, и живым поросенком, который тут же был подарен техноруку, потому как технорук имел семью и дом с огородом. Часы носил долго, потом их сдал в музей при Дворце культуры, ботинки, если не ошибаюсь, кто-то свистнул. Оно и немудрено: жили в бараке, похожем на тоннель, не разгороженный на комнаты, по 60—70 человек, спали на нарах в три яруса. Самые верхние вбивали в потолок гвозди и подвешивали на них имущество: узбеки — мешочки с урюком, молоком в бутылках, русские — картошку, вяленую рыбу, соль, чистые рубахи. Бедлам стоял, спасу нет: один спит после смены, храпит со стонами, другой на гармошке наяривает «Ты, Подгорна, ты, Подгорна»... третий у печи портянки сушит, четвертый в тазу кальсоны черным мылом жмыхает, пятый

бродит с колодой самодельных карт, зажатых в кулаке — ищет партнера, чтобы не сходя с места резануться в очко на пайку хлеба или на что хочешь. Дым самосадный — коромыслом, гомон — как на площади. А ничего — сносили все даже с некоторой веселостью. Наверно, потому сносили, что не знали другого ничего? Может быть. А может, что-нибудь другое приучало к долготерпению, к феноменальной выносливости тела и духа. Долг, совесть, святая любовь к Отечеству? Слова эти нынче произносят с оскорбительной снисходительностью, да и тогда, в пору отрочества Василия Белых, их не говорили вслух, они заменены были косноязыкой фразеологией партийных лозунгов да подсчетами процентов выполнения или перевыполнения планов. Сокровенное не требует высокого штиля, оно запрятано глубоко внутри нас.

...В моем дневнике отмечено, что пятого января 1990 года во Дворце культуры алюминщиков собирали ветеранов. В малом зале был дан концерт, ну а потом главный инженер завода Виктор Константинович Марков сделал доклад о трудностях и перспективах. Те и другие, подчеркнул он, напрямую связаны с перестройкой и новыми методами хозяйствования. Меня лично тронули и чуть удивили два обстоятельства: во-первых, удивило, что ветераны собрались дружно, их было много в тот вечер. Они пили чай, смотрели и слушали концерт, а потом и доклад. Я подумал: комсомольцы, которые еще носят билеты, таким мероприятием наверняка пренебрегли бы, а вот старики собрались, хотя ничего такого захватывающего тот вечер не сулил. И второе. В докладе лейтмотивом звучало: мы создали вас, дорогие, с единственной целью — обрисовать вам положение дел на сегодня для того, чтобы вы от нас не отрывались, чтобы мы, переживающие на данный момент своего рода кризис, чувствовали ваше надежное плечо. Такое слышать приятно, приятно сознавать, что они всегда нужны заводу.

В перерыве Василий Максимович Белых, лукаво улыбаясь, подвел меня к братьям

Шараповым, которые почти полвека назад щедро накормили дружков своих лошадиным медом. Братья и сейчас ничего себе — Николай Нестерович и Петр Нестерович, одинаковые по всем стандартам — коренастые, румяноликие, живые. Слово ртуть в них играет — куда она покатится, туда и они тотчас же сорвутся.

Белых спросил:

— У кого из вас десятеро детей?

Один из братьев слегка выпятил грудь и ответил:

— У меня десятеро, а что?

— Да ничего. Хорошо это.

Я так и не уразумел, кто из братьев многодетный: двойняшки, сразу-то их и не различишь.

— Звони, — сказали мне. — Если что заинтересует, у Николая вон телефон есть.

Обещал звонить. Тут как раз позвали слушать доклад, и мы расстались. Василий Максимович Белых тронул меня за локоть, когда шли в зал, и на ухо сказал с некоторой долей таинственности:

— Знаешь, когда мы это с Урала-то ехали, еще соль воровали из вагонов. К нашему составу всякое добро цепляли. Мы с солью-то на базар, ну и натуральный обмен — лепешки там, значит, или творог. Или еще что. Писать про это?

— Конечно!

— Мебель чью-то таскали — на дрова. Это я писать не стану, но не подыхать же с голоду, а?

Простим их прегрешения — сроком давности. Однако и стоит подчеркнуть одно весьма существенное обстоятельство: молодежь тех мятежных лет была приучена видеть мир таким, какой он есть, ничего не убавляя, но и не прибавляя. Осуждать порядки она не могла и не умела, но умела держаться на плаву до последнего, в отличие от нынешнего поколения. Теперь подростки хором и привычно жалуются по телевизору и в печати, что досуг их ничем не заполнен. Кроме этого самого досуга у них, кажется, ничего в активе и нет, и создать своими руками они ничего не могут и не хотят.

Глупы, ленивы? Нет, не приучены работать, лишены инициативы и азарта. Впрочем, об этом все знают — от уборщицы тети Маши до министра. Мы убеждаем друг друга в том, что, дескать, надо в этом направлении что-то предпринимать, но разговоры эти не дают реальных результатов и не дадут, поскольку дальше слов мы и одной ногой не ступили. Анекдот есть такой, ехидный. Раскрасили на праздник активисты паровоз флагами и плакатами, написали, что с сегодняшнего дня на этом паровозе едут непосредственно в коммунизм. Ну приготовились, закричали: трогаемся! Но машина — ни с места. Тут слесарь дядя Вася по путям с молоточком идет. Дядя Вася, просят, посмотри, что там у нас заело. Посмотрел слесарь и говорит: «Слазьте, граждане, хана!» В чем загвоздка? «А у вас, — отвечает, — весь пар в свисток уходит».

Почитай, семьдесят лет пар, выжатый из народа неистовыми партийцами, уходил в свисток. Да и теперь уходит, в перестроечной нашей буче. Противопоставление «тех» и «этих» никому, если разобраться, преимущества не дает: «те» не знали, что можно жить иначе, «эти» знают, да не умеют. И однако... В тридцатые годы лозунги имели, так сказать, натуральное выражение в виде новых фабрик и заводов, тракторов и автомобилей, в виде лампочек Ильича. Над строительными площадками и над крестьянскими полями витала Надежда. Вот поднадуемся — и забогатеем. А Надежда, известно, умирает последней. И еще. «Те» были здоровы здоровьем земли, как говаривала в Московском университете одна профессорша, «эти» же изломаны ложью и ни во что уже не верят.

Но теперешним молодым не стоит потешаться над святым порывом своих дедов и отцов, а поклониться стоит прошлому. Низко поклониться, испытывая душевную боль и сыновье почтение: они, старики, создали индустриальную державу. Из песни слов не выкинешь.

Пусть простит мне читатель некороткую эту сентенцию. Мне, поверьте, как и всякому другому, есть что сказать по поводу то-

го, до чего и как мы докатились и почему нищенствуем, обладая несметными богатствами, но то разговор особый.

5

Василий Максимович Белых в своих воспоминаниях пишет: «Когда мы пришли на завод после больницы, электролизеры (ванны) уже стояли на обжиге. Готовились к пуску, завозилось сырье. Так как строительство велось по упрощенному проекту, в корпусе монтировалось вместо 80 электролизеров 120». И дальше вспоминает о том, что не хватало металла, листового и фасонного, поэтому многие конструкции «решались в дереве» — это и перекрытия цинных каналов, и приямки для разлива металла. Добавим к тому: ванны не имели штор, значит, исходящие газы никак не улавливались, к тому же на первых порах даже элементарная вытяжная вентиляция не предусматривалась — некогда было предусматривать. Оборудование скороспешно свозилось в Сибирь с Запада и Урала по принципу с миру по нитке. И срок от первого колышка до первого алюминия определен был жесточайший — два года, хоть помри. Такие сроки нынче особенно в диковинку, мы ведь почти смирились с унылым долгостроем. Ну, а в те не столь уж и отдаленные времена все диктовала война.

Как работали?

Даже сейчас у меня, человека, что называется, со стороны, два-три дня слезятся глаза после того, как покручусь в корпусах, уже модернизированных и сравнительно современных, где есть разного рода очистка. До мировых стандартов еще далеко, но все-таки это уже не то, что было поначалу. На протяжении десятилетий наука и заводская инженерная практика пытались и пытаются защитить природу от сокрушительной поступи цивилизации, но в погоне за сиюминутными дивидендами плановые организации и многоэтажные министерства на эти работы и поиски кидали с державного стола лишь обглоданные кости. Вот мы и остались у разбитого корыта. Если сегодня

мы хоть кричим: «Ратуйте, люди добрые!», то тогда — в сороковые, шестидесятые годы и раньше — по неведению сперва, потом и по неписаным законам взывать к гражданской совести и требовать милосердия к окружающей среде и людям, ее населяющим, значило подвергнуться остракизму, ну а за чрезмерное упрямство — на казенный кошт в места не столь отдаленные.

Василий Максимович Белых вспоминает: «Как-то подошел я к пожилому мужику с Урала, Ильин его фамилия была, мнусь возле. Он усатый такой, серьезный. Чего, мол, тебе, что стоишь? Отчего, дядя, спрашиваю, у тебя одно плечо шибко завышено, ты кособенистый и не калека вроде? Фыркнул, обиделся: повкалывай с мое, у тя, грит, уши как у ишака длинные станут. Я даже после некоторое время все в зеркало смотрелся, ничего вроде: уши в норме остаются. У других интересовался, почему все-таки плечи у него такие? От кувалды, да от лома — помахай-ка смену железом, и взаправду уши вытянутся. Он сказал мне, зеленому: «В аду чертям, которые над грешниками кощунствуют, наверно, куда легче: они котлы свои вроде на свежем воздухе ставят, их, понимаешь, обдувает, нас же — нет».

Кувалда, зубило, лом — вот и вся технология, весь приклад.

Глинозем возили на себе — катали, подобно бурлакам, двухтонный бункер, а к ваннам таскали ведрами, специальными, особо поместительными и особо тяжелыми. Эту операцию производили в основном женщины. Одно время лошадей приспособливали, и поскольку это животное особо чувствительно к электричеству — даже телефонный провод, оголенный, способен убить его насмерть, — то изловчались по-всякому: надевали на попыта обрезанные валенки или же чуни шили. Однако лошадь, даже в лаптях, операцию не осилила и в производство не вписалась. Позже в корпуса бегал игрушечный паровозик, но даже он, игрушечный, создавал тесноту и всякие неудобства. Отказались и от этой рационализации — свой горб надежнее: с натугой и матерками нагрузки выдерживали. Правда, не все выдерживали.

Бывало и так: закрутится человек волчком вроде бы ни с того ни с сего и — упал. Поднимут, вынесут во двор оклематься. Не помогает свежий воздух — зовут медицину. Отелжится человек в больнице — и опять в свою смену. Другие не возвращались совсем, приговоренные к инвалидности и скудному пайку, предписанному иждивенцу. Но в основном народ притерпелся».

Лишь в 1944 году, пишет Василий Максимович, в цехе появились компрессор «Борец» и отбойный молоток, предназначенные для облегчения труда, но это уж потом — после стартовой и сумасшедшей гонки за металл, так нужный фронту и народному хозяйству. Впрочем, той гонке нет предела и до сих пор.

В воспоминаниях старого алюминщика присутствуют некие былинные, я бы сказал, черточки, отражающие непревзойденную удал, силу и красоту российского труженика. Вот, к примеру, картинка... «На строительной площадке стоял звон монтажных работ, а в небе стояли отблески сварки. Кстати, электродов не было, их нарезали из листового железа, после окунали в известку и сушили. И ничего, шов ровный получался. И прочный. Голь на выдумки хитра. Стены корпусов выкладывались кирпичом. Был такой на площадке каменщик-печник Первой (имени и отчества не помню), так он ежедневно и систематически выполнял норму на 500—700 процентов. У него подсобников собиралось порой до 12 девчат — подавали раствор, — и те порой не успевали. С тех пор минуло, почитай, полвека, а стены первого и второго корпусов в отличном состоянии. Теперь таких мастеров нет, халтура повывела». Или еще. «Был электролизник И. Т. Мосинкевич, немеренной силы мужчина. Для него специально кузнецы куваду отковали весом в 20 килограмм, стандартная его не устраивала. Грузы разные таскал, как слон. Говорят, еще жив, где-то в Междуреченске обитает. Интересно было бы на него посмотреть».

Интересно!

Как складывались их будни?

Обыкновенно, накатанно и привычно.

Перед сменой переодевались, дружно и кучно спешили на пятиминутку, где, естественно, обговаривались производственные дела и начальник корпуса обязательно, в подробностях, излагал новости с фронтов, согласно сводкам Совинформбюро. Радио было тогда редкостью, и новости, печальные и приятные, черпались исключительно через руководство, которому с горы видать далеко. В раскомандировочной, кроме того, висела карта, и на ней красными флажками обозначалась изломанная линия противостояния, обозначалось, где мы на данный момент поднажали, где, значит, попятились. Начальник, притом ритуально, как молитву, повторял слова о том, что алюминий нашим войскам, особо же авиации, нужен позарез — для наступления и окончательной победы, для уничтожения заклятого врага в собственной берлоге. И продолжалась работа в бесконечном своем чередовании, тяжелая и опасная, потому что к концу войны ванны стало «вводить» и коробить, а для планового ремонта времени не отпускалось, лишь два показателя заказывали музыку: тонны и качество. Ничего другого во внимание не бралось. Оборудование латалось на ходу, дыры зашивались через край и на живую нитку, и — вперед. Главное — вперед! После победы отоспимся. Работа никогда не кончалась. Только трудовой пот утер и к мойке подался, тут диспетчер завода объявляет: бригада такая-то идет туда-то. Мастеру получить талоны на молоко (дополнительно к норме) и организовать людей. Это значило: посылают опять разгружать уголь для ТЭЦ или же глинозем для завода. Наконец, все! Потом мылись жидким мылом и тянулись в столовую, чтобы получить за ударную вахту кашу или картошку, плюс к тому — сто граммов хлеба. Вообще же по карточкам полагалось хлеба целый килограмм, ну еще и приварок к нему. Холодильникам при таком раскладе перебиться было можно, а вот семейным... Те бедствовали,

имея детей и стариков, которые отоваривались по самому минимуму. Кто-то, наверно, считал тогда, соглашаясь с наукой, сколько нужно калорий ребенку или пенсионеру, чтобы только не умереть от истощения. Так разве отец не отдаст семье свою долю с килограмма, пропахшего дымами и потом?

Ну, а кроме работы что еще? Как жить-моглось?

— Ты знаешь, — ответил Василий Максимович. — Можешь себе представить, те годы вспоминаю с некоторой даже нежностью. Некоей главной осью, вокруг которой мы вращались, был, конечно же, завод. Чуть скучно станет, бежишь через проходную друзей повидать, новости обтолковать. Некоторые в цехе и ночевали: завалится парень где-нибудь в шинном канале и спит себе, будто пшеницу продавши...

Был старый клуб (его называли промеж себя курятником), но билеты купить туда не всегда удавалось — очереди собирались длинней, чем, пожалуй, сейчас за водкой. Больше полагались на стихийную самодеятельность. В логу, заросшем полынью и ширицей, неподалеку от жилой площадки вечерами сбегались без зова, пекли на кострах картошку, жарили рыбу на американском солидоле (почем зря употреблялся вместо масла!), все это веселое действо происходило под гармонь-двухрядку, под гитару или балалайку. Неплохо пели русские народные песни, или украинские — длинные и грустные (тогда песни до конца знали, до последнего куплета), или же военные, новые. Особо складно пелось после

благополучных сводок с фронтов Великой Отечественной — до сих пор в ушах не смолк голос войны.

В свободные часы компаниями (тоже ведь развлечение) бродили по барахолке, она рассыпалась далеко и людно на том аккумуляторе месте, где теперь трамвайный круг на Советской площади в Старокузнецке. Обмен шел натуральный, или же за деньги, которых было всегда мало, потому что каждый год отдавали державе займы то две, то и три зарплат. Пачки облигаций пухли в шкафах и тумбочках, перевязанные шпагатом, на всякий случай лежали, поскольку получить свои кровные назад надежды не было. Со всех эта мзда бралась, даже с нищенской студенческой стипендии. Так что барахолка для Василия Белых и товарищей его являла собой нечто вроде спектакля, где публика играла пьесу под названием «Будни глубокого тыла».

...Годы истаяли, как снег по весне. Силы есть еще, и Василий Максимович по-прежнему садится в трамвай и едет на свой завод, где все его знают. Он был бригадиром, мастером, старшим мастером литейки в первом цехе, теперь занимается производственным обучением, возится с молодежью. Он еще в строю, и мне лично спокойней на душе, когда он рядом, когда они рядом, наши славные старики. Когда они покидают нас, мы остаемся сиротами, потому что с ними уходит эпоха.

Алексей Горшенин

«ПРИТОМСКИЕ» СМОТРИНЫ

Появившийся полтора года назад сборник поэзии и прозы молодых литераторов Кузбасса «Мы — Притомье» (Кемеровское кн. изд-во, 1989) — издание-дебютант, поскольку впервые собрал под одной крышей произведения участников известной в горняцком крае студии «Притомье». В то же время издание это в определенной мере и юбилейное, ибо отражает десятилетний путь творческого объединения, взрастившего немало интересных, многообещающих поэтов и прозаиков.

Судя по сборнику, поэты в «Притомье» преобладают. Их в книге более полусотни, и, наверное, вполне естественным было бы ожидать при таком количестве и разнообразии имен соответственной поэтической разнголосоицы и даже пестроты. Но этого я как-то особо не ощутил. Во всяком случае, выбор тем и предметов для поэтического разговора оказался на удивление ограниченным. И уж не знаю, кто тут больше «виноват» — сами ли молодые стихотворцы, или составители сборника, не «заметившие» каких-то иных сторон в их творчестве.

О чем же чаще всего пишут авторы книги «Мы — Притомье»? Нетрудно догадаться: о детстве, о матери, отце, близких и дорогих людях. Ну что ж, вполне естественное для любого молодого поэта стремление переплавить в художественные образы воспоминания и впечатления о начальной поре своей жизни. И смущает вовсе не это. Настораживает однообразность и монотонность многочисленных вариаций на тему детства, банальность их, а также чуть ли не инфор-

мационная порой описательность, когда автору важнее становится не поделиться с читателем лирическим ощущением минувшего, а сообщить те или иные вспомнившиеся подробности. По-настоящему же ярких, западающих в душу поэтических картин детства в сборнике немного.

Но они есть, в чем можно убедиться, прочитав, например, подборку стихов Семена Печеника. Она — о военном и послевоенном детстве, об отце с матерью. Но явный автобиографизм в данном случае не мешает поэту, ибо занимается он вовсе не собственным жизнеописанием, а создает образ времени, образ той суровой эпохи. И создает весьма, надо сказать, удачно, что явствует уже из заглавного стихотворения подборки, задающего ей тональность.

*Лирический мой вкус
Формировался так:
В очередях я мерз
За хлебом арнаутским,
За сахарным песком,
За тем, что «все потом»,
В очередях узнал
Язык могучий русский...*

Живые, зримые, наполненные точными приметами времени, добрым юмором и теплым чувством, картины послевоенного детства встают и в балладе Сергея Донбая «Соц-город».

Впрочем, что касается теплого чувства, то молодым кузбасским стихотворцам его не занимать. Особенно когда речь заходит о родной земле, природе, родных и близких людях (а все это, кстати, у авторов сборни-

ка тесно взаимосвязано с воспоминаниями о детстве). Но далеко не всегда одного этого чувства достаточно, чтобы рифмованные строки превратить в поэзию. Тем более если зачастую уходит оно у ряда представленных здесь поэтов, как пар в трубу, в ностальгическую расслабленность, приторную умильность, рассеянно-умиротворенную созерцательность.

Не хотелось бы, правда, чтобы созерцательность звучала в моих устах как нечто ругательно-уничтожительное. Тем не менее должен заметить, что подлинно поэтическим созерцание становится тогда, когда обнаруживает остроту, зоркость и глубину авторского взгляда, умение за вещами обыденными видеть явления неординарные, когда, оставаясь лирически-задушевным, стремится оно к мотивам общечеловеческого звучания.

Мне показалось, что именно этим путем идет в своих стихах Александр Раевский. Есть у него и мягкий лиризм, и свежесть восприятия знакомых реалий («Ночью, охнув удивленно, почка сына родила»), и серьезные размышления о космогонической связи всего сущего в природе.

*Есть высшая доля над нами всеми:
Коль выпало счастье — явись и живи!
У облака — дождик, у дерева — семя,
В судьбе человеческой дымка любви...*

Подборка Бориса Бурмистрова разнопланова. Остро-социальный сатирический портрет современного хапуги («Не от мира сего») соседствует у него с картиной похорон сельского пастуха («Хоронили в селе пастуха...»), жанровая сценка в периферийном аэропорту («Батагай») с воспоминаниями о доме и матери («Из прошлого высвечен сердцем...»), размышления о дружбе, любви, доброте — с лирическими деревенскими пейзажами. Но через все стихи Бурмистрова проходит одна главная забота о сохранении извечных общечеловеческих ценностей. Стих Б. Бурмистрова традиционен, лишен усложненной метаморфичности, но это несколько не обедняет его; и без «архитектурных излишеств» он способен доходчиво и

убедительно донести до читателя авторскую мысль.

Энергией поиска заряжен лирический герой Александра Каткова. Он постоянно в движении, в пути («это я — молодой и безвестный — по дорогам России лечу»). Ищет же он себя и свое место в жизни в круговороте бытия. Поиски эти неспроста, внутренне драматичны, то и дело испытывают душу героя на излом. За ними видится мне путь романтических метаний поколения, родившегося на рубеже 50-х годов. Путь, который, несмотря на запутанность и противоречивость, заканчивался, как правило, возвращением к истокам своим и корням.

*Но вернись,
наглотившись пространства
и оглохнув от стука колес.
Дым отечества,
ветер славянства
мои щеки осушит от слез.*

Подборка А. Каткова в сборнике «Мы — Притомье», пожалуй, одна из наиболее зрелых. Стихи этого автора выдают нам поэта, уже состоявшегося, профессионально владеющего словом, знающего не только, что, но и как надо сказать, а потому говорящего с читателем легко, изящно, непринужденно.

Значительную часть поэтического раздела сборника составляют стихи о трудовой деятельности человека. Как правило, это зарисовки о людях определенной профессии. У Константина Акатнова, скажем, — о шофере («Водитель»); у Геннадия Шемелина — о литейщике, мастерство которого сравнивается с древним искусством гончара (стихотворение так и называется «Гончар»); о строителях и шахтерах у Владимира Евдокимова («Первый полет», «Я делал дело...»); и даже о сторожах вневедомственной охраны, чей окрашенный добрым юмором образ возникает в стихах Сергея Самойленко («Когда развесит ночь замки на всех дверях...»). Что ж, популярность трудовой темы в творчестве молодых стихотворцев вполне закономерна: большинство авторов этой книги живут бок о бок со своими героями, пишут о том, чем

и сами, собственно, добывают хлеб свой насущный.

Больше других в «производственной» поэзии данного сборника запоминаются стихи Леонида Гержидовича, Виктора Коврижных, Валерия Берсенева. У каждого из них — наособицу. «Утро в эфире» В. Берсенева — живая, осязаемая жаровая сценка об утренней радиоперекличке геологических поисковых партий. «Протяжка гасек» и «По производственной необходимости» В. Коврижных — своеобразные производственные репортажи, где, избегая патетики и парадности, автор говорит о работе, о деле с чувством трезвой реальности. Герой В. Коврижных, однако, как ни горька бывает эта реальность, не склонен прикрываться ею. За все, что происходит, он и себя считает ответственным тоже:

*Мне говорят: такая вот работа,
вагонов нет, мол, ты не виноват...
А я почти забыл, как пахнет потом
мой честно заработанный оклад.*

К тому и стремится герой Коврижных (тем привлекателен и интересен), чтобы не абы как провести трудовой день, а делать дело так, чтобы «стать душою выше от трудов», «чтоб песенно работать». Такую песенно-красивую работу поэт и постарался изобразить в проникновенно-светлом по тональности и настроению стихотворении «На краине».

Мысль о том, что труд — категория не только социально-экономическая, но и нравственная и даже эстетическая, прослеживается и в стихотворении Л. Гержидовича «Как вола, засупонил...» Оно о человеке, который всю жизнь проработал хоть и честно, и вроде бы добросовестно, но без радости и души, ни в труде своем, ни вокруг себя так и не увидев красоты.

*Как вола, засупонил
Сам себя человек.
Ничего-то не понял,
А прожил чуть не век.
Неприметно и скучно
Прозябал в немоте.
Хоть бы раз равнодушный
Взгляд поднял к красоте.*

*Хоть бы раз поклонился
У гурда муравью,
Хоть бы раз удивился
Под окном воробью.
И родных не заботил,
И себя не жалел,
Только в шахте работал,
Только спал, только ел.*

И грустно становится, взирая на этого примитивного гегемона, и обидно за него. Но что делать — прав автор: у многоликого нашего рабочего класса есть, к сожалению, и такая вот малоприятная унылая физиономия тупого безразличного работника, физиономия, которую литература наша и искусство под прессом классового подхода старались попросту не замечать. Слава богу, времена изменились, и зон, свободных от критики и честного изображения, все меньше становится не только вверх, но и в самом низу общественной структуры.

Как ни удивительным, быть может, покажется, но при таком количестве и разнообразии поэтов не хватает в сборнике «Мы — Притомье» того, чего, казалось бы, наоборот, у молодых должно быть с избытком — лирики. Нет, фактически, номинально она, конечно, присутствует, но как-то в большинстве случаев очень уж она безлика, бесцветна, бездушна, полна отработанных поэтических штампов и, по удачному выражению И. Куралова, «любительской тоски». Не буду утомлять примерами, полагаю, что читатель и сам без труда найдет подтверждение моим словам, открыв сборник.

Справедливости ради надо заметить, что все-таки и на этом довольно тусклом лирическом фоне есть проблески. Об А. Раевском и А. Каткове я уже упоминал. Неплохое впечатление оставляет Виктор Бокин. В его стихах, быть может, и нет той углубленности размышлений, что у первых двух, зато есть наполняющее их свежестью и лирической силой тревожно-романтическое ощущение мира.

Всего два стихотворения напечатано у Галины Золотанной, но оба наполнены светом, радостью жизни, оба удивительно искренни и задушевные.

Надеюсь, не пройдет читатель и мимо сти-

хов Роберта Евсеенко «Пролетали гуси низко над рекой...», «Песня мамы», в которых автор удачно использует народно-песенную, фольклорную стихию.

На удивление широко в сборнике «Мы — Притомье» представлены юмористы. Жанр, в общем-то редкий, а тут сразу пятеро поклонников пародии и иронической поэзии. Это говорит о том, что юмор у молодых литераторов Кузбасса в почете. Отрадно и то, что объектами пародий чаще всего служат стихи кузбасских же поэтов. Стало быть, начинающие юмористы знают творчество своих товарищей не понаслышке и относятся к нему с заинтересованным вниманием.

Из пародистов я выделил бы Бориса Рахманова. Уверен, что в своем выборе я не окажусь одиноким. Борис Рахманов пишет в излюбленном жанре достаточно давно и небезуспешно, был участником Второго Всероссийского семинара молодых сатириков. Останавливают внимание и иронические стихи Владимира Ширяева. Ирония его внешне легка, непринужденна, но не бездумна: за ней просматриваются реалии сегодняшнего бытия, в которых от серьезного до смешного порою всего один шаг.

Отряд прозаиков в сборнике «Мы — Притомье» гораздо малочисленнее поэтов и представлен только одним жанром — рассказом, что, конечно же, несколько искажает объективную картину истинных возможностей того или иного автора. Хотя ограниченность печатной площади иного выхода, пожалуй, и не давала.

Обычно молодые прозаики начинают с малых форм. И тем самым обрекают себя на трудное испытание, так как нет, на мой взгляд, ничего сложнее, чем написать емкий по содержанию и глубокий по мысли рассказ. В этом я лишний раз убедился, познакомившись с «малой прозой» сборника «Мы — Притомье», где настоящих художественных находок оказалось так же немного, как и в поэтическом разделе книги.

В тематическом плане прозу молодых литераторов Кузбасса можно, наверно, выра-

зить известной пушкинской строкой «век нынешний и век минувший», поскольку одни авторы материал для своих произведений черпают из сегодняшних будней, другие взор свой обращают к прошлому, к корням и истокам, к минувшей войне. И даже фантастические рассказы Валерия Баранова «Как согреть землю» и Александра Головова «Отпуск» отнюдь не выпадают из этой формулы, поскольку находятся в тех же проекциях настоящего и прошлого.

У известного поэта-фронтовика Л. Решетникова есть строки:

*Все сказано, все спето о войне,
Колокола иных побед грохочут.
Так что ж она еще диктует мне,
Моя душа? О чем она хлопочет?*

В устах воевавшего человека вопрос этот понятен и естествен. Удивительнее то, что сейчас, через сорок пять лет после Победы, душа «диктует» сказать свое слово о Великой Отечественной людям, чье рождение в лучшем случае совпало с ее окончанием. Но ведь говорят, по крайней мере пытаются что-то сказать, настойчиво пытаются. Другой вопрос — как?

Довольно поверхностной и банальной оказалась (я и рассказом ее назвать не берусь) зарисовка Николая Гладкова «Боль сердца».

Малооригинальна и история с раненым советским летчиком, спасенным простой русской крестьянкой, поведанная в рассказе «Родник с живой водой» Эдуардом Шопоревым. Много их, подобного рода сюжетов, возникало в литературе нашей и кинематографе. Теперь еще один, насквозь вторичный, скалькированный с кино-литературных эрзацев.

А вот Виктору Корсукову, по-моему, удалось найти свой поворот военной темы. Во всяком случае, он сталкивает нас в своем рассказе «Перепись» с любопытной ситуацией, когда, с одной стороны, во время переписи старая женщина заносит как живых в переписной лист трех своих погибших сыновей и мужа, а с другой — юноша-счетчик даже и не пытается пресечь ее са-

моделя, потому что сердцем чувствует, что здесь не просто блажь, чудачество, а своеобразная реакция больной памяти.

— Вы не думайте,— убежденно проговорил Сергей,— она не сумасшедшая какая-нибудь, она все понимает. Она мне сама про похороны сказала и что в печке их сожгла. Они к ней раз за разом пришли. «А про перепись,— говорит,— прочитаю в газете, сколько народу у нас, и порадоюсь, что сыны мои с батей числятся. В народе-то. Сколько у них сыновей-то было, кто знает».

Мысль о памяти, дающей животворную силу нашему существованию и прочно связывающей прошлое, настоящее и будущее человека, отчетливо звучит в рассказе Александра Панфилова «Брейк на старом сундуке». Старинный дедовский сундук побуждает молодого героя рассказа к размышлениям о прошлом своего рода. На внутренней крышке сундука химическим карандашом выведено несколько дат смерти, а за ними полная трагизма история нескольких поколений крестьян, сосланных после раскулачивания из центральной России в Сибирь, переживших войну, послевоенные тяготы... Впрочем, воспоминание о судьбе своих предков для героя рассказа не самоцельно. Оно, в общем-то, отрывочно, пунктирно, в какой-то мере поверхностно-эскизно. Но весь смысл его в том, что герой, заглядывая в прошлое, примеривая к нему себя, нынешнего, приходит к очень важному выводу: к которому, несмотря на явную вроде бы бесспорность, каждое новое поколение приходит своими путями заново:

«Спасаясь от пошлости и ужаса настоящего, мы ищем поддержки в нашем прошлом... Лишь сохранив наше прошлое, мы имеем право говорить о будущем».

Мне хотелось бы обратить внимание на художественную сторону этого рассказа. Написанный в форме письма любимой девушке (у него и подзаголовок — «неотправленное письмо»), он пронизан лиризмом и особым тревожно-грустным настроением, соответствующим состоянию героя, оказавшегося

в душевном кризисе. Я чувствую здесь некоторое влияние И. Бунина и Ю. Казакова — двух блестящих лириков разных эпох, но, думаю, влияние это бесполезно. Тем более что, как бы там ни было, молодому автору удалось, говоря словами Бунина, «поймать свой звук» и создать вещь самобытную, запоминающуюся.

Чего, к сожалению, не скажешь о лирических миниатюрах Зинаиды Щербаковой или рассказах Николая Астраханцева «Цветет в июле иван-чай» и Евгения Чирикова «Ложь», хотя и они выстроены на той же «воспоми­нательной» основе и в них есть заявка на особую лирическую интонацию. Вот только реализовать в полной мере эту заявку авторам не удалось, хотя никому из троих не могу отказать в литературных способностях.

Главной темой и предметом художественного осмысления для многих прозаиков сборника «Мы — Притомье», как я уже говорил, стала наша сегодняшняя жизнь. Правда, оговорюсь: не совсем, наверное, и сегодняшняя. По крайней мере, нет в рассказах молодых того социально-политического дыхания, той взрывоопасной напряженности (чего, кстати, и в стихах почти не ощущается), которой атмосфера Кузбасса (да и всей страны тоже) в последние годы как раз и характерна. Видимо, оказавшись лицом к лицу с нетипичными для нашей общественной жизни событиями, всколыхнувшими страну, молодые (да и не только молодые) литераторы просто еще не успели отойти на необходимую для взгляда дистанцию. А с другой стороны, вообще трудно ожидать от писателей более или менее оперативной реакции на события при нашей изнуряющей издательско-полиграфической канители.

Впрочем, жизнь состоит не из одних только горячих событий. Куда больше в ней ситуаций тривиальных, повседневных, порой анекдотичных. Таких, например, в какую попадает герой рассказа А. Легчило «Ну вот и все», застигнутый утром в постели любовницы. За пределы стандартного анекдотического положения, правда, молодому автору выйти не удалось, но проявилось у

него тем не менее завидное качество: умение двумя-тремя штрихами, минуя всякую описательность, передать обстановку, конфликт, завязанных в нем действующих лиц. А это говорит уже о немалых возможностях начинающего прозаика.

Как много значит точно найденная деталь, иллюстрирует рассказ Валерия Костина «Дареные деньги».

Идет свадьба. Дарят молодым, как принято нынче, как модно, деньги «на почин семейной жизни». Мать жениха с товаркой, уединившись после на кухне, производят подсчет. Товарка считает равнодушно, «как бы исполняя скучную обязанность», мать — «любовно сортируя бумажки по цветам», живо представляя себе, прикидывая, кто же сколько положил. Особенно со стороны родственников невесты. И кажется ей, что последние пожадничали, не по совести, не по справедливости поступили. И черная неприязнь охватывает ее...

Через пресловутый этот подсчет свадебных денег автору рассказа удается контрастно четко высветить и резко противоположные характеры двух женщин и разное понимание чувства совести и справедливости.

Только вот сжигание в финале женихом свадебных подношений показалось мне чересчур театральным, надуманным, но в целом рассказ «Дареные деньги» оставляет хорошее впечатление.

Раз речь зашла о горячих точках сегодняшней жизни, больных ее проблемах, то ведь искать их надо не только в сферах политических или социально-экономических. В условиях современной действительности, в условиях дестабилизации общества все более жгучими для всех нас становятся вопросы морального и нравственного порядка.

О проституции сегодня пишут и говорят много. Тема настолько же злободневная, насколько и модная, о чем свидетельствует хотя бы повальный успех литературного и кинематографического вариантов «Интердевочки». А вот Юлия Лаврышина подошла к этой теме с довольно-таки неожиданной стороны.

У юного героя рассказа «Веселенький де-

нек» мать — валютная проститутка (отца он совсем не знает). Он живет с бабушкой, учится в школе, мало чем отличается от своих одноклассников, готовится вступить в комсомол... И вдруг на комсомольском собрании один из его благополучных сверстников ехидно задает вопрос о его родителях. Вопрос вроде бы невинный, но по сути провокационный. Для героя рассказа, стыдящегося своего неестественного сиротства, того, чем занимается мать, для него, тщательно оберегающего тайну собственного происхождения, этот вопрос, конечно, — удар, удар ниже пояса, нравственная его драма. Страдания юноши усугубляются тем, что, несмотря ни на что, он продолжает любить падшую свою мать. Тем более что в отношениях с одноклассницей убеждается, как просто можно перейти барьер общественной морали.

По напряженности взаимоотношений персонажей, нравственной заряженности и неожиданности фактуры чем-то близок произведению Ю. Лаврышиной рассказ Владимира Валиулина «Борисик». В центре его — столкновение работников отдаленной метеостанции Борисика и Семенова. Причина: к кобелю Борисика Черному повадилась ходить волчица. Семенов, боясь, что она приведет за собой стаю, требует пристрелить собаку. Борисик предпочитает не вмешиваться в естественно возникшую связь животных. Тогда Семенов выслеживает волчицу, оказавшуюся на сносях, и расправляется с ней. Борисик, у которого у самого только что родился сын, это убийство воспринимает как личную трагедию...

Здесь не просто личный конфликт, здесь конфронтация мировоззрений, отношений к природе: один ощущает ее как самого себя, другой — считает, что человек должен диктовать ей свои условия. Ну а в конечном счете в стычке Борисика и Семенова без труда просматривается противостояние добра и зла как главных противоборствующих мировых сил.

Итак, сборник «Мы — Притомье» прочитан. «Смотрины» состоялись. Сразу семьдесят литераторов показали свой товар.

Дмитрий Рябов

СЦЕНАРИЙ
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА
О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

За селом, за яром —
Дуся с комиссаром,
Соловьи свистят, как Карл Маркс!
А на тот на берег,
Вынув револьверик,
Вышел Врангель — мутный глаз.

Дуся, рот разиня,
Слушала про Зимний —
Комиссар полез, куда нельзя...
Врангель по речушке
Долбанул из пушки,
Глазом пакостным кося.

Эскадрон
Для атаки строится!
Грыз погон
Есаул норовистый —
Самогон
Да портянки чистые
И притом
Бабы коммунистовы...

Всколыхнулась Дуся:
«Белых не пропустим».
Комиссар стал прятать партбилет,
Говорит ей: «Дуся,
Лучше застрелюся,
Чем отдамся в белый плен».

Отвечает Дуся:
«Я с тебя смеюся.
В нашем левовере семь патронов.
Оба мы герои —
Счас мы им устроим
Бабов, и курей, и самогон.

Ни фига
Ты не сделал выводов.
Дай наган —
Постреляю иродов!»
Комиссар
Помолился Энгельсу.
В небесах
Вечер канителился.

От семи патронов
Оба эскадрона
Шуганулись — брода не нашли.
Врангель матерится:
«Надо за границу,
Срочно за границу, блин!»

В сено с Дусей ляжет
Комиссар отважный,
Соловьи, опять же, засвистят,
Завтра на рассвете
В грязном сельсовете
Орденом обоих наградят.

Только им —
Расставаться жалко им,
Ведь бои
Предстоят ужасные,
Но они
Победят и выстоят.
Коммунизм
Непреренно выстроят.

Первая Конная,
Вшивая, сонная,
На ночлег в селе остановилась.
Кони рассёдланы —
Ржут невесёлые,
Но не ржёт, не спит Клим Ворошилов.

Весь перетянут ремнями,
Клим идет на партактив —
Плещется в небе красное знамя,
И контору пахнет сортир.

В штабе Будённого —
Вонь самогонная,
Свист стоит в избе, как в чистом поле,—
Хлопцы растеряны
От дизентерии:
Знать хотят, за что они боролись?

Через потери большие
Мы согласные — вперёд!
Но мыла нет, и в боях обовшивел
Восставший рабочий народ...

Вихри враждебные
Веют над бедными —
Вдруг Будённый — трах! — из револьвера:
«К чертовой матери
Линию партии,
Драть таких революционеров!»

Спать до утра не ложились,
Решали все — кто виноват?
Матом ругался Клим Ворошилов,
И в Клима Будённый плевал.

Звезды погасли над крышей,
Контра в оврагах кричит...
Клим на Будённого Ленину пишет,
Будённый на Клима строчит.

Михаил Небогатов

«НЕЗАМЕТНО ДНИ ИДУТ ЗА ДНЯМИ...»

Заметки из дневников 1952, 1958 гг.

1952 год

3 декабря

Когда-то мне казалось, что когда будет издана моя первая книга стихов, то я буду чувствовать себя счастливым человеком. Это представлялось немыслимым — увидеть среди других книг свою... И вот книга напечатана, продается, а радости большой я не испытываю. Просто доволен, что наконец-то мечта сбылась, хотя поздно: ведь (как-никак мне уже тридцать второй год. Было уже две рецензии. Одна — в «Комсомольце Кузбасса», другая — в «Кузбассе». Первая — автор Гайрий Немченко, молодой газетчик, толковый, насколько я уже успел заключить по некоторым разговорам с ним — более серьезная, написана вдумчиво, доброжелательно, даже тепло. Вторая рецензия — претенциозная: много поучений, преднамеренное выискивание блох, местами — снисходительное похло-

пывание по плечу. Общий тон — грубый, неуважительный (есть, впрочем, и похвальные замечания). Рецензию эту мне, автору сборника, можно было и не читать — полезного в ней нет ничего. Рецензент, Маковкин, — тоже молодой газетчик. Я на него не обижаюсь. Мое дело не обижаться, не возмущаться, а писать. Я и пишу, как будто не было ни доброго, ни злого слова. Автор — лучший судья своих стихов. Я сам понимаю, что у меня хорошо, а что плохо. А постоянное чувство мое — неудовлетворенность всем, что я делаю. Все что-то не то. И вроде знаю, как должно быть, а не могу. Главное же — это то, что чувствую в себе силы создать настоящее. Когда создам и создам ли вообще — трудно сказать.

1958 год

21 апреля

Вчера получил от А. В. Высоцкого и Н. Н. Яновского письмо, в котором они предлагают высказаться на страницах «Сибирских огней» по волнующим меня вопросам литературы и жизни. Предложение это связано с предстоящими съездами писателей — третьим всесоюзным и первым республиканским. В журнале открывается новый раздел — «Трибуна писателя». Я ответил, что охотно поделюсь своими мыслями. Поговорить дей-

ствительно есть о чем. Взять хотя бы равнодушные основной массы читателей к стихам современных поэтов. Разве это случайно? Есенина-то ведь читали! Твардовского, «Василия Теркина», — читают. А Луконина, который среди поэтов видная фигура, в народе и знать не знают. Причин много. Вот я и попробую высказать кое-какие соображения на этот счет.

23 апреля

Весь день просматривал «толстые» (московские) журналы — «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» — за 1956—1957 гг.

Материала для подкрепления моих соображений насчет нашей поэзии (серость, шаблонность, оригинальничанье, а нередко — и просто бессмысленность) уйма. А впрочем — плетью обуха не перешибешь.

Новых имен пока что нет.

Вот образчик сегодняшней поэзии (хочу привести его в статье):

соль моя! Мелкая, крупная... градом...
спутница жизни, жена и сестра.

Автор — быстро набирающий разбег на беговой литературной дорожке В. Боков. Стадион — журнал «Октябрь».

25 апреля

Просматривал вырезки из «Литературной газеты» того периода, о котором Шолохов на втором съезде писателей сказал, что эта газета отдана на откуп трусливым рюрикам (редактор Рюриков), стоящим на задних лапах перед Симоновым (Симонов был тогда секретарем ССП).

Обращает внимание заметка «Дым отечества». Новая повесть К. Симонова. В обсуждении участвовали И. Эренбург, К. Федин, Д. Данин, Н. Москвин и другие.

Вот что сказал Эренбург:

— Это — страстно написанная вещь. Она горячо защищает интересы Советского государства...

— В новой повести Симонова, — подчеркнул Федин, — сочетались лучшие особенности его дара: пером драматурга написан диалог, пером публициста — размышления героя, в лирических эпизодах, особенно в финале, чувствуется перо поэта...

Я написал по этому поводу:

Читатель, книжицу листая,
не обнаружил тех сторон...
Нет, лучше я перечитаю
односторонний «Тихий Дон».

29 апреля

Был вчера в издательстве. Очень расстроился, увидев сигнальный номер ! сборника стихов «Моим землякам»: опечатка на опечатке, пропуски, перестановка строк. Типографские недоделки так очевидны, что решено устранить хотя бы самые вопиющие.

Перечитал еще стихи (старался глядеть глазами постороннего), в целом сборник неплохой, свое отношение к миру, по-моему, удалось передать (это главное), но некоторые

стихи уже не нравятся. Чувствую я глубже, чем выражаю. Недаром почти все большие поэты досадуют на то, как бессильно слово. Уж если большим мастерам трудно подчинить себе слово, то нам, подмастерьям, и подавно.

Говорят, очень полезно ежедневное писание. Может быть. Я вот пишу каждый день — и каждый день те же трудности, что и накануне, и год назад...

9 мая

Закончил статью для «Сибирских огней». Основная мысль — поэт и народ. Высказал свои соображения насчет некоторых причин, по каким простые люди предпочитают прозу стихам.

Сами поэты отучивают читателя от стихов

своим легкомысленным отношением к художественному слову, вычурностью, надуманностью, фальшью. Прошелся я по кой-кому довольно бесцеремонно — по москвичам, которые часто печатаются в толстых журналах и, вероятно, кем-то признаны.

17 мая

За последнее время я не написал ни одного длинного стихотворения. Теперь даже странно, как это раньше получалось у меня по шестьдесят, а то и по девяносто строк. Сейчас стихотворение, в котором больше тридцати строк, кажется уже длинноватым.

Что это? Быстро выдыхаюсь или требо-

вательности к словам стало больше? Не знаю. Во всяком случае, писать длинно не хочется. Стараюсь выразить любую мысль как можно сжатым (как нехорошо звучит это «сжатым»).

Сжатость, оказывается, не вредит выразительности. Выходит даже лучше.

5 июня

Редактор отдела художественной литературы нашего издательства К. А. Шилова была в Новосибирске на всероссийском совещании детских писателей, и С. Е. Кожевников — председатель правления СП — спрашивает ее, почему, дескать, Небогатов до сих пор не присылает рекомендаций для

приема в Союз писателей. Вот те раз! Рекомендации от Е. К. Стюарт и И. Е. Ерощкина я послал еще 25 февраля. Оказывается, не получили. По словам Шиловой, секретарь обкома А. М. Лыткин тоже интересуется, приняли ли меня в Союз писателей.

15 июня

Среди стихов Бунина привлек внимание своей мастерской отдалкой один из сонетов. Захотелось самому сделать что-нибудь в этом роде; написал два сонета — о молодости, о

прощании с ней. Работа очень интересная. Если не наскучит и окажется посильной — попробую сделать венок сонетов.

22 июня

Сегодня воскресный день совпал с годовщиной, которая никогда и никем из русских не забудется: семнадцать лет назад, 22 июня...

Дмитрий Николаевич Орлов (уже покойный) читал в записи на пленке отрывки из «Василия Теркина». До чего проникновенное чтение! Слушаешь — и слеза прошибает. И наоборот, когда этот же мастер выступает с рассказами деда Щукаря — со смеху

умираешь. Очень талантливый был этот Орлов — самый любимый мой артист.

Вчера заходил в редакцию «Кузбасса». Думаю, что предложенные стихи не дадут. Теоретически они за поиски в творчестве, за проявление поэтической индивидуальности, а на практике — не любят ни то, ни другое. Для меня это не новость. Надо писать что-то чисто газетное, чтобы с ходу сдавалось в набор. Иначе — зубы на полку

24 июня

Деньги, полученные за книгу, выходят, а печатаюсь редко, хотя работаю много. Вчера написал два стихотворения. Это, по моему, должно понравиться газетчикам.

К сонетам я уже охладел. Отнеслись к ним равнодушно — и я потерял интерес. А

поддержки меня кто-нибудь — я бы еще лучше написал.

Перечитываю Тютчева Ф. И. Староват по стилю и словарю, но глубина чувств и мыслей в его лирике поразительная.

26 июня

Приезжал ко мне из редакции А. Ивачев (работник партийного отдела, очеркист) с просьбой написать стихотворение для поло-

сы, которую он готовит. Я согласился.

Очень трудно мне даются публицистические стихи. Но переламаываю себя и застав-

ляю писать. Это стихотворение писал долго — вчера до трех ночи; встал в девятом часу и

Сегодня приносят письмо, на конверте штамп издательства (нашего). Распечатываю — письмо, оказывается от Яновского Н. Н. Дата отправки — 10 мая. Ничего себе!

Сейчас — десятый час утра, а я уже с маленькой победой: написал стихотворение — своеобразный гимн лету. До того хорошо получилось, что самому удивительно и... боязно немного: сумею ли так написать еще что-нибудь.

Но может быть, только мне кажется, что хорошо. Только что рожденное часто вы-

Проснулся в шестом часу и за работу. Написал небольшое стихотворение памяти Василия Дубского (страшно это звучит «па-

Опять потеря: не стало Петра Ивановича Замоиского. Мне посчастливилось дважды видеться с ним — в Кемерове в 1948, когда он приезжал сюда в командировку, и весной 1950 года в Москве.

Печальна судьба этого писателя: его книги («Подпасок», «Молодость», «Лапти») в те-

Сегодня я испытываю такое чувство, которое можно, пожалуй, выразить только словами крыловской басни: «От радости в зобу дыханье сперло»; только что принесли письмо от А. Т. Твардовского. «Книжка, — пишет он, — производит очень симпатичное впечатление... Возможно, что мы дадим в «Новом мире» рецензию на нее. Но писать мне самому не только некогда, но и отчасти неудобно: может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что следы усердного чтения Твар-

Раздумывая о своей литературной судьбе, я невольно стараюсь утешить себя тем,

опять принялся. Итого — почти сутки.

2 июля

Яновский сообщает, что моя статья «О стихах и простом читателе» и ему и редактору понравилась, в № 8 пойдет.

6 июля

глядит лучше прежнего. Как бы ни было, я по-настоящему счастлив. Лишь бы здоровье не подкачало, да не прошло это творческое настроение; чувствую: много хорошего могу я написать. Где и когда все это будет напечатано — особый вопрос, об этом я не тревожусь. Было бы что печатать!

11 июля

мяти»). Давно ли мы с ним ночи не спали, обсуждая наши литературные новинки, строя планы на будущее.

29 июля

чение многих лет зачитываются народом до дыр, а их даже не удостоили до сих пор вниманием — нет ни обстоятельных статей, ни исследований. Бабаевскому, кажется, четыре раза прицепляли значок лауреата, а Замоискому не дали ни одного.

Как же это случилось?

3 августа

довского на ней (книжке) заметны. Присылайте, если есть что-нибудь для «Нового мира».

Не всяк может понять мою радость от этого письма, но я-то знаю, что Александр Трифонович будет со временем назван классиком (говорю это без преувеличения), и то, что он заметил, подбодрил меня, — великое счастье. Теперь я буду работать еще упорней.

27 августа

что она похожа на многие другие судьбы. К. А. Урманов — новосибирский прозаик,

поэт И. А. Мухачев, тоже новосибирец... Они уже старики, издали по несколько полноценных книг, а в Москве заметили их совсем недавно, по существу, на закате жизни. Я знаком с обоими. Это очень симпатичные, очень скромные люди. Урманов — могучей комплекции человек, природный таежник, истинно русский, кондова-сибирский характер. Мухачев — напротив, болезненный, слабый, подслеповатый старик, но тоже бывший следопыт, любитель лесов и гор и в поэзии — певец природы. Еще с довоенного времени помню я наизусть его строки. И вот двое этих честных тружеников почти всю жизнь не могли пробиться в большую советскую литературу, хотя смолodu имели право занять в ней достойное место. По чьей вине? Да по вине равнодушных дельцов, присосавшихся, как пиявки, к высоким креслам в Союзе писателей.

Теперь, так сказать, исправили положение: Мухачеву даже орден трудового Крас-

ного знамени дали. Не поздно ли? В прошлом году я видел его в редакции «Сибирских огней». Усталый, разбитый. Высоцкий поинтересовался: «Что же, Илья Андреевич, орден-то не носишь?» Тот в ответ только вздохнул...

А взять поэтические антологии, выпускаемые в Москве. Русская советская поэзия. Громко звучит это. Но скольких имен не досчитываешься в этих антологиях! Включают в них всех, кого угодно, только не тех, кто живет далеко от Москвы. Не потому ли многие литераторы и переключиваются в столицу, поближе к кормушке...

Кто-то в печати это обосновал тем, что, дескать, все самое талантливое тянется к сердцу Родины, чтобы ощутимей чувствовать биение пульса советской действительности. Талантливое?! Сомневаюсь. И только «бесталанный» Шолохов не может расстаться со своей станицей Вешенской, то-то он и не чувствует биения пульса народной жизни...

1 сентября

Литературные газеты широко отмечают годовщину со дня опубликования партийного документа — выступления Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» (28 августа 1957 г.).

А еще раньше подвергался критике ряд писателей за нездоровые настроения, выразившиеся в опубликовании ревизионистских произведений. В первую очередь досталось В. Дудинцеву за роман «Не хлебом единым» — об изобретателе-одиночке, о его борьбе с косностью, бюрократизмом, шкурничеством.

Критиковали и других, в частности: К. Симонова, М. Алигер, А. Яшина и др.

В республиках, областях и краях тоже не обошлось без выявления ошибочных тенденций в творчестве местных литераторов.

В нашей области козлом отпущения оказался я. Кому-то помстилось, что в опубликованных в те дни двух моих стихотворениях «О счастье» и «Жил человек» есть попытка очернить нашу действительность, главным образом руководящих работников. Настроили об этом и преподнесли первому сек-

ретарю обкома С. М. Пелипцу, к которому я вскоре и был вызван для беседы. Чувствовалось, что самому ему не до наших стихов, а внушение сделать приходится по долгу службы. Ну, а если вы, мол, не согласны, пожалуйста, доказывайте, спорьте.

Легко сказать: спорьте. Это Лев Толстой писал царям письма, в которых высказывал им все, что хотел. Я только сказал, что не ждал какого-то иного толкования.

Совсем иначе были оценены эти стихотворения читателями. Получил я отклики. Что случается нечасто. В откликах стихи названы правдой жизни. А Казимир Лисовский восхищен заключительным четверостишием стихотворения «Жил человек» (о молодом неизвестном поэте):

Он 'тоже может стать великим,
коль демагоги и ханжи
его не сделают безликим
жрецом парадности и лжи.

В сборник сии «крамольные» стихи не попали.

1 октября

Получил из Новосибирска журнал «Сибирское огни». Моя статья идет самой первой. Все хорошо, но в текст вкралась грубая опечатка: вместо «а корни сердца влажной напой» напечатано «а корни света...». Это из стихов И. Е. Ерошина. Не скажет он спасибо (он, конечно, отнесет ошибку на мой счет).

Вышел в свет наш альманах «Огни Кузбасса». Центральное место в нем занимает повесть Рехлова В. «Рудознавец». Я рад за Рехлова. Интересная деталь: в альманахе разносится в пух и прах книга очерков

краеведа И. Зыкова («С ружьем и котомкой по тайге»), а в «Сибирских огнях» эта книга возносится до небес. Кому же верить? — будет гадать читатель.

Позавчера нагрянул ко мне неожиданный гость — Женя Буравлев, один из самых серьезных местных поэтов. Ночевал. О многом переговорили мы. Пишет он сейчас поэму «Красная горка». Читал мне вступление. Крепко написано, причем на этот раз — в строго классическом размере (чего не было у него раньше). Есть строки о Твардовском — сильные, восторженные...

15 ноября

Все дни перевожу Торбокова. Эта работа с одной стороны радует, с другой несколько ущемляет. Радует потому, что появляются новые стихи, и неплохие, а жаль, что к ним

будешь иметь скромное отношение. Но помочь человеку — не последнее дело. Без меня его подстрочники так и остались бы подстрочниками.

20 декабря

Итак, Союз писателей РСФСР организован. Перечитал я все выступления делегатов съезда писателей. Поумнеть не от чего. И вдохновиться тоже нечем. «Мы, писатели, должны... Мы обязаны» и пр., и пр. В общем, ни одного своего голоса, кроме разве двух-трех из братских республик (Р. Гамзатов, М. Ка-

рим): в их речах есть что-то живое. Все остальное — сплошная аллилуйщина и жвачка. Шолохов и Твардовский только присутствовали.

Подготовила к печати
М. И. Небогатова.

Евгения Леволь

ШУТКА

Вышло чудо из чудес...
Я на радугу залез!
Шел тихонько —
Рвал цветочки:
Астры, мальвы,
Ноготочки.
Рвал цветочки,
Вниз бросал.
Очень метко попадал
По цветочку — Оле, Маше,
Соне, Вере и Наташе.
Зое, Галочке и Зине...
Маме — полную корзину.
А потом
Устал и сел,
Отдыхал и песни пел.
А еще —
Болтал ногами
В синем небе
Над домами.
Спросишь:
Как туда залезть?
...Надо много
Каши съесть.

КУРОПАТКИ

На деревьях бахрому
Зимушка развесила.
Куропатки на снегу
Разыгрались весело.
Шубки теплые у них:
Мягкий пух да перья...
Ветер северный утих,
В ивее деревья.
Куропаткам не страшны
Ни мороз, ни вьюги.
По сугробам тут и там
Мчатся друг за другом

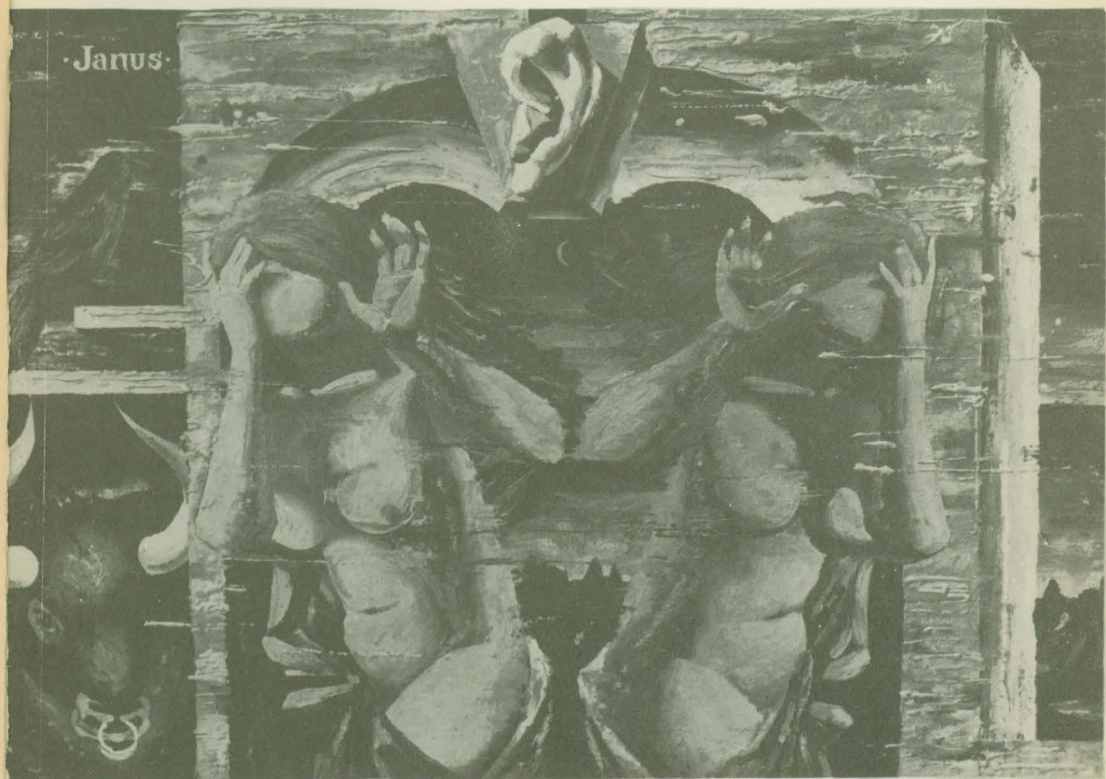
Каждый год
У них к зиме
Вырастают валенки.
И не страшен им мороз
Ни большой, ни маленький.

ТЕНЬ

Два барана
Утром рано
По полю бегут.
Два барана
Утром рано
Блеют и ревут.
— Страшный зверь
Бежит за нами,
Машет он
Двумя хвостами
У него четыре рога...
А копыт — не перечесть!
Выгнал нас он из-под стога
И, наверно,
Хочет съесть!
— Но послушайте, бараны,
Проворчал им старый пень. —
Вы себя ведете странно —
Рядом с вами ваша тень.
Два барана блеют:
Те-с-е-нь...
Что пасешь нас
Целый день???

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕС ТРЕЗОР

Мы разучиваем песни
На баяне третий час,
А Трезор сидит на месте
И смешит все время нас.
Потому что он поет —
— Громко заливается...
Но никто не разберет...
Что же получается?!



Е. М. Тищенко. «Исповедь каменному уху». 1989. Энкаустика.

